

ИСТОРИЯ

**А.Л.ЯНОВ**

**НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
РУССКОЙ КОНСЕРВАТИВНОЙ МЫСЛИ  
XV-XVIII СТОЛЕТИЙ**

**(Диссертация на соискание ученой  
степени доктора философских наук)**

**1973 г.**

КНИГА 1  
АБСОЛЮТИСТСКОЕ СТОЛЕТИЕ  
1462—1564 гг.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ. ОПРАВДАНИЕ ЖАНРА.

### § 1. ПРОЛОГ

Эта книга написана профаном и для тех, кто откажется признавать себя профанами. Она ничего не прибавит к арифметической сумме исторических сведений, накопленных наукой, ибо основана не на архивных изысканиях или источниковедческих открытиях, а на толковании общеизвестных фактов.

И дело не только в том, что архивных изысканий проведено было у нас более, чем достаточно, тогда как степень философского их истолкования, уровень концептуального осмысления и необходимого для этого инструментального аппарата не вышел, к сожалению, существенно за рамки интерпретаций, принятых еще в прошлом столетии; дело, кажется, еще и в том, что не числом добытых фактов важна для нас, профанов, история, а глубиной их усвоения.

Ибо история — не каталог и не компендиум хрестоматийных цитат. История — это кладезь живого опыта, это школа, в которой училось и продолжает учиться человечество. Школа, полная благих порывов и мучительных разочарований, высоких целей и разоблаченных спустя поколения ошибок. Это драматическая летопись человеческих страданий, в которой несмыслимыми письменами записаны вся боль его и все прозрения.

История учит. Не хрестоматийными, повторяю, примерами, а тем, что она движется.

И с каждым пережитым десятилетием заставляет нас перечувствоваться, располагать известные факты в иной последовательности, иным светом освещая то, что представлялось существенным, и выдвигая на первый план то, что казалось забытым. Вот почему историю нельзя написать раз и навсегда, уложить навеки в прокрустово ложе заданных интерпретаций, прикрепить к земле, как средневекового крестьянина, и канонизировать, как средневекового святого.

История — это мы сами.

И каждый новый поворот нашей жизни заставляет нас заново продумывать всю совокупность ее предшествующих поворотов, заново страдать и заново прозревать.

Как человек учится на маленьких ошибках своей биографии, на глобальных своих ошибках учатся народы. По крайней мере, должны учиться. Потому что вперед они могут двигаться лишь в той мере и степени, в какой усвоили собственный опыт, сделали его своим орудием, и вчерашние разочарования переплавили в сегодняшнюю

уверенность Ибо каждый миг своей жизни несут они с собою все свое прошлое.

И зашифрованное в символах и стереотипах их политической структуры, в некоем своеобразном и еще неразгаданном нами социально-генетическом коде, оно, это прошлое, в значительной степени определяет их сегодняшние решения на крутых исторических поворотах, по-своему трансформирует все их идейные системы и принципы, регенерирует порою в самых неожиданных формах и былой позор и былую славу.

Поистине наивно надеяться, что прошлое можно похоронить, разрушив символизирующие его институты и идеи. Ибо живо оно во-все не институтами и идеями, живо оно в наших чувствах и в наших реакциях, в нашей любви и в нашей ненависти. "Нации, как и женщины, не прощается минута оплошности, когда первый встречный авантюрист может совершить над нею насилие." Это сказал Маркс. И он прав, потому что женщина может трижды после этого выйти замуж и тем более сменить все свои туалеты и стать вполне комильфо, но роковая "минута оплошности" всегда будет жить с нею, как будут жить с французами их бонапартистские контрреволюции, с немцами - их Третий рейх и с русскими - опричнина Грозного.

Только в тяжком и честном опыте сознательного преодоления своего прошлого, в трудном историческом поиске новых контрсимволов и контрстереотипов вырабатывают народы иммунитет против раковых теней, и мертвые перестают хватать живых.

Но для того, чтобы найти вакцину, нужно прежде знать диагноз. Опасно этого не делать. Но, увы, опасно порою и делать.

"Китайской военной автократии, - говорит в "Заметках по истории современности" Э.Генри, - явно мерещится некое новое "поднебесное" государство, выступающее официально под красным флагом социализма, но в действительности копирующее милитаристскую политику китайских императоров-завоевателей и мандаринов давно забытых веков." Сменились институты, сменились идеи, нет больше богдыхана, есть Председатель Китайской Народной республики, а политическая культура жива, и мертвые богдыханы хватают живых председателей и заставляют их делать в XX веке то, что делали они в X. И никто в современном красно-желтом Китае не осмелится поставить диагноз и честно сказать, что дело не столько в современной красной форме, сколько в желтом историческом содержании. Опасно. Но необходимо. Ибо покуда не войдет это страшное признание в

оборот народной культуры, так и будет прозябать великий народ под тяжелой надгробной плитой азиатского деспотизма.

Наивным кажется мне и сентиментальное изумление по поводу того, как могло возродиться средневековое варварство в стране Лессинга и Гете, Бетховена и Баха. Наивным, потому что, рассуждая о Третьем рейхе, логичнее было бы вспомнить не столько о Бетховене, сколько о жестоком опыте двух предшествовавших рейхов, о зловещих итогах контрреформации и Тридцатилетней войны, о том, что не Гете, а именно национализм освободил Германию от наполеоновского ига, и не Бах, а именно милитаризм излечил ее от национального комплекса неполноценности, воссоединив в великое государство. Вспомнить, другими словами, не столько о художественной культуре Германии, сколько о политической ее культуре. Вспомнить о том, что думали о войне еще задолго до мировой катастрофы 1914 года два авторитетнейших представителя этого народа, олицетворявших противоположные полюса его культуры, его бронированную силу и его интеллектуальную совесть — самый благочестивый его генерал и самый нечестивый его мыслитель.

"Вечный мир — греза, и даже не прекрасная. Война входит в установленный богом порядок вещей."

"Пустая иллюзия и прекраснодушные ожидать многого (и даже чего бы то ни было) от человечества, если оно разучится воевать. Доныне неизвестны никакие другие способы, за исключением великой войны, которые могли бы в такой же мере пробудить эту рождающуюся на поле битвы могучую энергию, это глубокое самоотречение, порождаемое ненавистью, это сознание долга, порождаемое убийством, это рвение, порождаемое стремлением уничтожить врага... в котором нуждается народ, утрачивающий свою жизнеспособность."

"Без войны мир закоснел бы и погрузился в материализм."

Пусть попробует читатель различить, что принадлежит в этой великолепной кровоточащей риторике графу Мольтке, а что Фридриху Ницше. И пусть скажет, что предвещал миру этот парадоксальный дуэт культурных антиподов, если не Третий рейх.

Нет, не был Третий рейх чудовищной исторической случайностью. Напротив, был он по-своему логичным и последовательным продолжением политической истории одного народа.

Почему не удержалась в 30-е годы в Испании демократия и, наоборот, стабилизировался авторитаризм? Не оттого ли, что, как тонко заметил Маркс, уже средневековая Испания была лишь по внешности схожа с абсолютистскими монархиями Европы, а по существу

напоминала азиатские деспотии? Нет, не столько Сервантес и Лопе де Вега, сколько автократические элементы испанской культуры имеют прямое отношение к генералу Франко.

Как возможно было сердечное согласие папы Пия XII с лидерами Третьего рейха, теми самыми, которые устами Гимmlера провозгласили: "Мы не успокоимся, пока не ускорим христианство"? Разве мыслимо это понять, если позабыть о политической истории Ватикана, о средневековых реминисценциях папства, об идее католического реваншизма, о призраке второй контрреформации, воскресшем спустя четыре столетия?

Так не обедняем ли мы себя сами, отказываясь от концептуального осмысления политической культуры народов? Ведь у нас даже жанра философии истории нет. Ведь даже последняя история русской общественной мысли написана была Г.В.Плехановым в 1907-1914 годах!

Сознаюсь, что непосредственным толчком к этой работе была для меня недавняя дискуссия о славянофильстве, бурей пронесшаяся по нашим журналам, где в невинных и дерзких молодых голосах моих современников и ровесников вдруг явственно послышались мне живые интонации Аввакума и Крижанича, Аксакова и Кавелина, Леонтьева и Соловьева. словно бы не миновали столетия, словно старые рыцари выступили на старне ристалища идей, снова скрестив свои проржавевшие мечи. Это верный знак, что и мы не разочлись еще со своим прошлым окончательно, что древние векселя существуют еще и могут быть предъявлены к оплате.

Но важно не только это. Важно раз и навсегда понять, что "завтра" наше зависит не от одного лишь нашего "сегодня", но и от нашего "вчера", что лишь от взаимодействия прошлого и настоящего может родиться предвидимое будущее.

Игнорируя прошлое, опираясь только на одно обнаженное, усеченное как ствол с обрубленными корнями настоящее, рискуешь навсегда остаться в заколдованном кругу прошлого. Именно таким образом прошлое и превращается в рок, тяготеющий над будущим. Ибо, как сказал мудрец, народ, забывающий свое прошлое, рискует пережить его снова.

И нет из этого заколдованного круга никакого иного исхода, нет иного способа рассчитаться с этим заклятием, кроме бесстрашного и, повторяю еще раз, предельно честного его осмысления. Кроме возрождения философии истории, Кроме анализа политической куль-

туры, становящегося неотъемлемым элементом общественного сознания. Я не знаю и не представляю себе сейчас дела, которое было бы важнее этого. Важнее именно для будущего. Для действительно светлого и действительно честного будущего человечества.

Ведь человечество вовсе не состоит из профессионалов-историков. Состоит оно как раз из профанов. И если забудут что-то историки, их пожурит ученый совет. А мы, профаны, платим за то, что забываем историю, значительно дороже. Следует понять, наконец, что действительным содержанием споров о природе абсолютизма, о сущности политических институтов и идеологий или тому подобных отвлеченных материях, является не архаическая схоластика, а собственная наша судьба.

Это вовсе не означает, что я собираюсь предложить читателю популярную публицистическую работу, отличающуюся от обычных компиляций лишь живостью слога и чувствительностью интонаций. Отнюдь. Начинаю я так свою книгу вот почему: много лет назад явилось у нас и, к сожалению, утвердилось и прижилось в профессиональной среде убеждение, что философия истории есть профанация истории. А я намерен написать работу по философии русской истории, задача которой может быть в первом приближении сформулирована как попытка концептуального осмысления политической практики и политического мышления в России за время ее полутысячелетнего существования в концерте европейских держав.

И поскольку специальной истории русских политических институтов, по крайней мере, в известной мне литературе не существует, равно как и истории русских политических идеологий, то у меня, перед лицом столь громадной и почтенной задачи, нет предшественников.

Вот это и заставляет меня просить читательского снисхождения за первую и столь несовершенную попытку, особенно подчеркивая в этом кратком прологе слово "попытка"...

## § 2. ПАРАДОКС РУССКОЙ ИСТОРИИ

Циклопический объем работы и отсутствие прецедентов располагает к скромности и облегчает откровенное признание. Да, на многие сложные и спорные вопросы русской политической истории читатель не найдет здесь однозначных ответов. Отчасти из-за неразработанности их в литературе, отчасти из-за недостатка специальных знаний у автора: нельзя объять необъятное.



Но во всех таких случаях я буду стараться выдвигать наиболее правдоподобные, с моей точки зрения, гипотезы. Это, впрочем, не должно удивить читателя столь принципиально гипотетической книги. В ней ведь только и будут что факты да гипотезы. Самый жанр философии истории исключает экспериментальную проверку и математически точные способы верификации. Его гармонию можно проверить не алгеброю, но логикой.

Сошлюсь на авторитет А.И.Герцена. "Нам известно, - писал он в 1850 году, - какое жалкое место занимает в истории гипотеза, но мы не видим причины, оставаясь в пределах совершившихся фактов, отбрасывать без рассмотрения все, что кажется нам правдоподобным. Мы ни в коей мере не признаем фатализма, который усматривает в событиях безусловную их необходимость - это абстрактная идея, туманная теория, внесенная спекулятивной философией в историю и естествознание. То, что произошло, имело, конечно, основание произойти, но это отнюдь не означает, что все другие комбинации были невозможны: они оказались такими лишь благодаря осуществлению наиболее вероятной из них - вот и все, что можно допустить. Ход истории далеко не так предопределен, как обычно думают."

Если непосредственно историческую науку занимает только то, что свершилось, - философию истории, то есть науку, которую в прошлом интересует не только прошлое, но и будущее народов, занимает то, что могло свершиться. Ибо действительное прошлое народа составляют не одни лишь факты, но и тенденции, не одни лишь результаты, но и логика исторического движения. Голый результат есть нуль, как говорит Гегель, есть мертвое тело, от которого отлетел дух. А для нас именно этот дух и важен, именно воплотившаяся в нем борьба противоположных тенденций, из которых реализовалась лишь одна.

Философия истории чужда односторонности исторической науки. Она судит не столько побежденных, сколько победителей. У нее несопоставимо больше степеней свободы, нежели у исторической науки. Но кому больше дано, с того больше и взмечтается: она требует и несопоставимо большей творческой интуиции. Ибо ей предстоит реконструировать историю, воссоздать ее во всей полноте, единстве и цельности. И другого инструмента, кроме гипотезы, тут, как понимал уж е Герцен, просто не существует.

Я мог бы, конечно, почерпнуть доказательства необходимости и актуальности своей работы из чистосердечных признаний специалис-

тов. Разве не сетовал в 1968 году такой авторитетный специалист как А.Я.Аврех, что "Абсолютизм - тема не только важная, но и коварная. Эта проблема обладает удивительным свойством: чем больше успехи в ее конкретно-исторической разработке, тем запутанней и туманнее становится ее сущность"?

Тем более, добавлю от себя, что таково коварство не одной только проблемы абсолютизма, но и всех иных проблем политической истории, которые мы вдобавок еще и просто плохо знаем. Достаточно сослаться на признание другого авторитетного историка Н.И. Павленко, что "о боярской думе второй половины XVII - начала XVIII века мы сейчас знаем не больше, чем это было известно В.О. Ключевскому около 90 лет назад. Столь же неудовлетворительно обстоит дело с изучением института земских соборов", чтобы убедиться в том удивительном небрежении, с которым медиевисты наши на протяжении десятилетий относились именно к истории политической практики своего отечества.

С еще большей убедительностью свидетельствует об этом - да простят меня профессионалы - многолетняя журнальная дискуссия о русском абсолютизме в одном из исторических изданий, где с упрямым постоянством приводятся одни и те же дежурные цитаты, доводы и контрдоводы, те самые, что приводились в 30-е и 40-е годы и даже еще до революции, гранитные цитаты и доводы, самим своим бюрократическим бессмертием неопровержимо доказывавшие, что все архивные успехи и источниковедческие триумфы последних десятилетий не оказали равно никакого воздействия на их концептуальное осмысление.

И более того, нагромодили лишь кучу неразрешимых парадоксов, о которых мы еще потолкуем.

Я мог бы, повторяю, искать оправдание своей работе во всех этих субъективных признаниях и объективных свидетельствах, если бы не предпочел более общих и позитивных предпосылок.

Обратите внимание хоть на то обстоятельство, что в рамках одного и того же вида политических структур (абсолютизма) нашлось, оказывается, место и для весьма радикального различия в типах этих структур. Самый уже элементарный факт, что один и тот же ряд социально-экономических реалий XVI века (стремительная урбанизация общества, резкое обесценение денег и катастрофический рост цен) привел в разных "абсолютистских" системах не только к различным, но и к прямо противоположным результатам

(в одних случаях, к падению, в других, напротив, к расцвету крепостного права, в одних случаях - к государственной монополии внешней торговли, в других - к государственному поощрению торговли частной), разве не вопиет он, этот факт, к типологическому анализу?

Я не говорю уже о том, что одни "абсолютистские" системы были весьма динамичны, другие - менее, а третьи - и вовсе деградировали. Одни оставляли после себя истерзанную и истоптанную, словно после варварского нашествия, страну, другие, напротив, с потерями и коллизиями, но все-таки выводили ее к столбовой дорожке прогресса. Например, английский, испанский или русский абсолютизм различались между собой столь существенно, что возникало порою - даже у очень серьезных исследователей - искушение вообще отказать им в, так сказать, видовой принадлежности, подвергнуть сомнению самую их абсолютистскую природу.

Известно, как мы уже говорили, что Маркс, занимаясь испанской историей, пришел к парадоксальному выводу: "абсолютная монархия в Испании" имела "чисто внешнее сходство с абсолютными монархиями Европы". Известно, далее, что В.И. Ленин - в отличие от некоторых современных историков - никогда не упускал случая, характеризуя русское самодержавие, подчеркнуть его "деспотический", "азиатский", "варварский" облик, обилие в нем самого "допотопного варварства, консервированного в необычайно чистом виде в течение веков". "У нас деспотизм азиатски девственен", - говорил он, противопоставляя политическую практику самодержавия европейскому абсолютизму.

Неудивительно поэтому, что проблематика типологического анализа абсолютистских политических структур вызывает некоторый интерес и сочувствие у историков-марксистов. В этой связи мне особенно хотелось бы сослаться на точку зрения итальянского историка Розарио Виллари, решительно высказавшегося в 1968 г. в том смысле, что "было бы ошибкой ... рассматривать абсолютизм как хотя бы относительно однородную историческую фазу развития в разных странах Европы. Мы должны обращать внимание не столько на общие черты этого исторического явления, сколько на различия, существовавшие между теми или другими странами, теми или другими политическими и социальными зонами Европы."

В самом деле, установив, что общественные системы, принадлежавшие не только к одной и той же формации, но даже и к одному

виду политической организации, столь резко различались тем не менее по своей способности к развитию, по своей, можно сказать, социальной эффективности, мы тем самым подходим к вопросу о том, где искать корни этих различий. Сложность дела заключается в том, что сама по себе классовая точка зрения ничем нам здесь не поможет, поскольку как раз в классовом смысле все эти системы были строго однородны. Стало быть, сама постановка вопроса о сравнительной социальной эффективности классово-однородных общественных систем вынуждает нас перейти на иной, более сложный уровень исследования. Другими словами, тут-то и возникает необходимость в жанре философии истории со всем ее реконструктивным и гипотетическим аппаратом.

И вдруг оказывается, что никаким таким аппаратом мы попросту не располагаем. Тем обидней это, что когда-то, лет сто назад, располагали мы им. Был Чаадаев и был Герцен. Был Аксаков и был Чернышевский. Был Ключевский и был Кареев. Был Милоков и был Плеханов. Конечно, уровень их философствования о русской истории теперь покажется архаическим. Но дело ведь не в уровне, а в традиции. В тихо умершей, в задохнувшейся под ярмом академического снобизма и профессиональных амбиций традиции, не оставившей ни школы, ни преемников. А ведь отсутствие философской традиции чревато, между прочим, самым вульгарным утилитаризмом, легко адаптирующимся к любой сиюминутной доктрине, легко жертвующим, как выяснил еще Джон Стюарт Милль, истиной, способным превратить любое средство в самодовлеющую цель.

Спросите любого современного нашего историка, чем руководится он, анализируя и оценивая развитие своей страны, и он, естественно, ответит вам, что исходит из фундаментальных положений исторического материализма. Из того, что в тот или иной момент существующие производительные силы общества обгоняли в своем развитии его производственные отношения, что несоответствие это порождало в нем классовую борьбу, каковая и выступала двигателем политического прогресса, что победивший класс сламывал старую государственную машину и строил на ее месте новый аппарат классового господства, что в зависимости от этого и менялись политические формы и механизмы управления обществом.

Так он вам ответит, и так действительно обстоит дело в теории, на уровне общемировом и абстрактном. Некоторое затруднение возникает только при переходе от постулатов теоретической классики

к анализу конкретной политической практики. И состоит это затруднение в том, что все эти классические постулаты — во всяком случае в изложенной сейчас абстрактной форме, в которой только и фигурируют они в школьных и университетских учебниках, — никак не помогают нам ответить ни на один из основных вопросов политической истории России XV—XVIII веков.

...История каждой страны имеет свои особенности и знает свои парадоксы. Особенность и парадокс русского политического развития состоит, в частности, в том, что когда в XV—XVI веках, на заре новой истории рушилось в Европе тысячелетнее средневековое рабство, — в России как раз закладывались его основы. Когда в Европе в крови и муках складывался прогрессивный способ производства и зарождались современные производительные силы, — в России они разрушались. Когда в Европе накапливался позитивный культурный опыт, обеспечивавший поступательное развитие форм государственного управления, логическим венцом которого неминуемо должно было явиться величайшее политическое изобретение всех времен, демократия, — в России воцарялся угрюмый полуазиатский деспотизм, развращавший политическую культуру на рода и на века консервировавший ее средневековую структуру.

Одним словом, в то самое время, когда Шекспир и Сервантес, Бруно и Декарт, Галилей, Бэкон и Монтень возвестили в Европе первую, еще робкую зарю современной цивилизации, — пожары и колокола опричнины возвестили России глубокое и мрачное торжество варварства.

Как объяснить этот парадокс русской истории XV—XVIII столетий с точки зрения указанных постулатов, если производительные силы росли здесь так медленно, что на всем пространстве этих столетий так и не смогли перерасти производственные отношения? Если классовая борьба, хотя и распатывала, как говорят наши историки, феодальный общественный строй, но распатать никак не могла? И более того, поднимался он после очередного "распатывания" как феникс из пламени, освеженный, консолидированный и почему-то окрепший, удручающе долговечный и, как ни в чем не бывало, гнул по-прежнему свою варварскую линию? Если, стало быть, никуда его эта классовая борьба не двигала? Если не сламычалась здесь старая государственная машина, а напротив, век от века крепла, вследствие чего и дотянула во всем своем полуазиатском невежестве до самого XX века?

Так как же тогда объяснить этот большой русский парадокс? И как объяснить тьму порожденных им маленьких парадоксов, вокруг которых из поколения в поколение безуспешно ломали копья русские мыслители и историки?

Историки-идеалисты склонны были объяснять его либо роковым влиянием византийской культуры, так сказать, культурной генетикой, как делал это когда-то Чаадаев и делает сейчас итальянский профессор Гаспарини; либо, напротив, влиянием насильственной петровской европеизации, как делали это когда-то славянофилы и делают сейчас их современные единомышленники. Так на то они и идеалисты, чтобы толковать, объясняя такие серьезные вещи, о какой-то культуре, о категориях вторичных, "надстроечных". Нет, историки-материалисты неколебимо стоят на гранитном фундаменте "базиса". Их обличения исторического идеализма звучат мажорно, объясняя парадоксы универсальным ключом "экономической отсталости России".

И все было бы хорошо, если бы не понадобилось еще объяснить, откуда она взялась, эта экономическая отсталость. И тут уж, никуда не денешься, приходится апеллировать к трехсотлетнему татарскому игу, к колоссальному погрому страны, грудью своей преградившей "туннам" путь в Европу и, стало быть, ценою собственной отсталости заплатившей за неблагодарную европейскую цивилизацию.

Увы, поскребите этот высокопатриотический пафос и окажется, что содержание его несколько по сути не отличается от идеалистических объяснений, предложенных тем же Чаадаевым или Аксаковым. Разве что роль, которую в одном случае исполняли греки или немцы, в этой псевдоматериалистической концепции исполняют татары.

И чтобы номенклатура была совсем уж и исчерпывающей, справедливость требует упомянуть, что ультраславянофилы начала XX века дополнили ее страстным утверждением: евреи виноваты. С.Шарапов в своей социальной утопии "Россия в 1950 году" утверждал даже, что европеизация России была практически ее евреизацией.

Как видим, на деле разнятся между собой все эти объяснения не по сути, а по имени. По имени виноватых. Ибо сводятся все они к тому, что в русском парадоксе виновата не Россия, а кто-нибудь другой - татарин ли, немец, грек ли, еврей, это, согласитесь, не существенно.

Существенно, что в конкретном анализе о "базисе" никакой

уже речи не было, о классовой борьбе, как двигателе политическо-го прогресса, не поминалось, о детерминации ею политических форм позабыли. Сакральные постулаты остались сакральными, они непорочны, как дева Мария, и благодать по-прежнему почитет на них, но как только доходит до дела, апеллируют не к ним, а к бедным татарам.

Вот и оказывается, что это лишь общие отправные точки, неоплодотворенные самостоятельной философской мыслью, не сопряженные с концептуальным осмыслением, не вооруженные современным инструментарием. Увы, в столь общем виде они могут служить скорее символом веры, нежели орудием исследования.

Иначе говоря, между ними и конкретно-историческим анализом нет в механизме нашей исторической науки необходимого посредствующего звена, которое только и могло бы сделать классические постулаты работающими и эффективными, нет того, что можно бы назвать "теориями среднего уровня", нет приводного ремня, в роли которого и призвана выступить философия истории.

Стало быть, мне и в самом деле предстоит прежде чем изжарить свою яичницу изобрести для нее сковородку, другими словами, реставрировать жанр. Ибо обратной стороной отсутствия философской традиции является, как мы теперь уж и можем с некоторым основанием утверждать, неминуемая измена собственным постулатам, тривиальный утилитаризм, ловко избегающий трудных вопросов, а вместе с ними, увн, и исторической истины.

Одним словом, дело теперь, кажется, за малым. А именно за тем, чтобы от признаний и призывов перейти к действительному анализу. Чтобы попытаться из общей, недифференцированной, так сказать, абсолютистской массы выделить хотя бы один достаточно специфический и поддающийся рациональным характеристикам конкретный тип абсолютизма.

Истории русского абсолютизма, умудрившегося законсервировать мрачайшие черты средневековой политической практики, приоритете принадлежит в таком деле по праву. Сама аномальность русского абсолютизма, который, впрочем, уместней было бы определить как псевдоабсолютизм или автократию, делает его великоленным объектом для типологического анализа, хотя имеет и свои неудобства. В частности, интерпретация его как псевдоабсолютизма предполагает его сравнение с неким условным идеальным типом, с некой моделью "европейского абсолютизма", с типом, который, конечно, никогда не сущест-

вовал в действительности, но который необходим в нашем анализе из соображений чисто методологических. Покуда не созданы глобальные типологические модели, другого пути, к сожалению, не существует. Так что особых объяснений такое допущение не требует. Таково оправдание этой книги, таковы ее предпосылки, критические и позитивные.

### § 3. ВОСТОЧНЫЙ ДЕСПОТИЗМ ИЛИ ЕВРОПЕЙСКИЙ АБСОЛЮТИЗМ?

Как мы уже видели, существуют, грубо говоря, две основные интерпретации русского самодержавия. Одна, бытующая главным образом среди западных специалистов, практически отрицает политическую борьбу и политическую оппозицию в русской истории и, на глазах мистифицируя "полуазиатский характер" самодержавия, превращает его в "азиатский", теряя при этом не только приставку, но и какую-либо реальную его специфику. Под пером наиболее экстремистских представителей этой интерпретации, каков, например, Г.Тимм, русская история вообще обретает облик кошмарной "тотальной деспотии и полиции".

Я назвал бы таких интерпретаторов "деспотистами".

Другой способ интерпретаций, бытующий главным образом среди отечественных специалистов, растворяет обыкновенно политическую борьбу в борьбе социальной и, не исследуя ее по существу, с неменьшим упорством старается игнорировать упомянутый "полуазиатский характер", подверстывая русское самодержавие к западному абсолютизму и приписывая ему таким образом характер "европейский". Одни специалисты пользуются этим приемом жестко, открыто провозглашая отсутствие существенных различий между русским и европейским "абсолютизмами", другие делают то же самое сокровенно, просто не акцентируя полуазиатскую специфику русского "абсолютизма".

Таких интерпретаторов я назвал бы "абсолютистами".

Автор, как легко догадается читатель, не может согласиться ни с той, ни с другой постановкой вопроса. По той именно причине, что так же, как "абсолютисты" не в состоянии объяснить природу уникальной неэффективности русского самодержавия, так и "деспотисты" не могут объяснить его перманентного развития и усложнения.

В самом деле, что такое "восточный" или "азиатский" деспотизм? Это мертвое, лишенное оппозиционной контркультуры и в силу



этого способное лишь к простому политическому воспроизводству телю. При всей суетливой пестроте преторианских заговоров, яничарских бунтов и дворцовых переворотов, оно беспрерывно воспроизводит себя во всей своей безжизненной целостности. Его обычный ритм сужен до предела, до двух полярных элементов: разрушения и воссоздания самого себя. Это - закрытая система, параметры которой жестко заданы еще в дохристианском тысячелетии. Мир ее замкнут как планетная орбита, лишен вероятности, лишен выбора, лишен реального движения. Ему неизвестна политическая альтернатива. В этом смысле он - призрак, он - вне истории. Разумеется, время властно и над ним. Разумеется, уязвима и его чудовищная стабильность, и он, как все на свете, движется. Но ведь движутся и планеты - только орбиты их постоянны. Даже победившие в средневековом Китае крестьянские восстания рабски воспроизводили во всех деталях богдыханскую структуру управления, не несли в себе даже зародышей позитивных конкурирующих стратегий, не содержали альтернативных политических моделей...

А между тем, русское самодержавие развивалось. Причем развивалось в условиях жестокой политической борьбы, в невообразимой для азиатского деспотизма амплитуде политических колебаний, богатстве и содержательности их элементов, воспроизводя на одном полюсе непрерывно модернизирующуюся автократию, а на другом - столь же быстро модернизирующийся абсолютизм. И главное! - между двумя этими полюсами его структуры оставалось еще место для элемента третьего, азиатскому деспотизму совершенно неизвестного, для того, что мне хотелось бы назвать "смутным временем", временем политической бури - лихорадочно активной выработки альтернативных программ и открытой схватки конкурирующих стратегий.

Да, русское самодержавие - подобно азиатскому деспотизму - тоже всякий раз после очередного "смутного времени" воспроизводило себя. Но воспроизводило - в отличие от этого деспотизма - на новом уровне сложности.

И, стало быть, оно не просто обнаруживало способность к развитию. Оно усложнялось. И не просто усложнялось, но и по мере этого усложнения становилось принципиально способным к кардинальной метаморфозе, к переходу - через ряд промежуточных форм - на современный, представительный уровень управления, предусматривающий механизм демократии как эффективную форму социального контроля.

Другое дело, что на протяжении веков переход этот, в силу

тех или иных - мы еще увидим, каких именно - причин, ему не удавалось. Но ведь есть очевидная разница между практической неудачей и теоретической невозможностью демократизации.

Случайно ли, что один из самых внимательных и компетентных наблюдателей русской политической практики В.И. Ленин, категорически, как мы знаем, настаивавший на отличии русского самодержавия от европейского абсолютизма, не менее решительно настаивал на его, как ни парадоксально это звучит, либеральной эволюции? Случайно ли, что за внешним консерватизмом, за формальной неподвижностью политической формы самодержавной монархии усмотрел он реальное движение политического содержания?

"Монархия XVII века с боярской думой, - говорит Ленин, - не похожа на чиновничьи-дворянскую монархию XVIII века. Монархия первой половины XIX века - не то, что монархия 1861-1904 гг. В 1908-1910 гг. явственно обрисовалась новая полоса, знаменующая еще один шаг в том же направлении, которое можно назвать направлением к буржуазной монархии."

Это писал Ленин, который превосходно, как обнаруживает его полемика с Л. Толстым, знал, что наряду с гибким и адаптивным - при всей его ужасающей неповоротливости - русским самодержавием существует и действительно неподвижный, действительно политически мертвый "восточный строй", "азиатский строй".

"Общего закона движения вперед человечества нет, как то нам доказывают неподвижные восточные народы", - утверждает Толстой. "Вот именно идеологией восточного строя, азиатского строя и является толстовщина в ее реально историческом содержании", - парирует Ленин.

В том-то и дело, что политическое воспроизводство русского самодержавия было - в отличие от азиатского строя - воспроизводством расширенным, говоря в терминах политической экономии, беспрерывно вносило в исторический процесс качественно новые и смертельно опасные для его исторической стабильности элементы. Русское самодержавие эволюционировало и одним уже этим само себя отрицало. Таково было, как свидетельствует история, одно из фундаментальнейших свойств его природы, на которое как раз и пытаются закрыть глаза "деспотисты".

Но свойство это несколько не облегчает и положения "абсолютистов", ибо все "допотопное варварство" русского самодержавия, вся роковая историческая бесплодность и уникальная его неэффектив-

ность остаются при нем. Даром что ли писал Энгельс, что русское самодержавие "поддерживается... посредством такого азиатского деспотизма, такого произвола, о котором мы, на Западе не можем даже составить себе никакого представления"?

Он же, Энгельс, связывал эту страшную специфику самодержавия с тем, что "масса русского народа, крестьяне, столетиями, из поколения в поколение глупо влечили свое существование в трясине какого-то прозябания, вне истории, и единственной сменой единообразия, прерывавшей это унылое состояние, были отдельные бесплодные восстания и восстановление гнета". Мы еще увидим, что специфика русского самодержавия была связана и с рядом других исторически благоприобретенных свойств, но сейчас нам важно констатировать, что она была!

Важно понять, что самодержавие не было ни аутсайдером европейского абсолютизма, ни знаменосцем азиатского деспотизма. Что представляло оно собой нечто третье, нечто принципиально отличное и от того, и от другого. Что оно представляло собой структуру промежуточную, пограничную, если можно здесь употребить термин доктора Парка, маргинальную. Что "полуазиатский характер" самодержавия означает на самом деле просто столь громадную степень автономности управления от "верхних классов" общества, как и вообще от регулируемой им системы и ее социальных элементов, что царская власть приобретала иные, качественно отличные от абсолютизма характеристики, имела иное число и уровень ограничений, получала в силу этого возможность навязывать обществу, в том числе и командующим его классам, свою собственную, альтернативную их интересам глобальную стратегию, только отчасти и на время совпадающую с интересами тех или иных социальных слоев.

Именно этой "полуазиатской" автономностью от регулируемой системы и отличалось русское самодержавие, которое я предпочел бы, чтобы не возвращаться к старинному аристотелевскому термину "тирания", определить как автократию, от синхронного ей в период ее зарождения европейского абсолютизма. Именно автократичностью его и объяснялся тот важнейший феномен его истории, что и развиваясь, развивалось оно не поступательно, как европейский абсолютизм, а циклически. Развивалось, всякий раз воспроизводя на новом уровне сложности и с новыми метаформозами свой трехэлементный глобальный цикл - "звездный час автократии", "смутное время", "псевдоабсолютизм".

В этом спиралевидном развитии, в этом постоянном возвращении вспять, на круги своя, в этой цикличности, представляющей собою второе фундаментальное свойство его природы, и заключалась причина его уникальной неэффективности.

Вот теперь и может быть более конкретно сформулирована задача нашей книги как попытка указать на неудовлетворительность существующих объяснений генезиса русской самодержавной монархии, как попытка осмыслить его под принципиально иным концептуальным углом зрения, под углом зрения типологического анализа монархических форм государственного управления, одним словом, под углом зрения автократии.

Само собой разумеется, что здесь, в начале работы, этот угол зрения может быть лишь провозглашен декларативно. Тем более, что сама циклическая природа русской автократии заставит нас снова и снова, пусть не посетует читатель, возвращаться к этой исходной позиции, с тем же, можно сказать, циклическим упорством обогащая ее реалиями истории.

Всем этим я вовсе не хочу сказать, что восточный деспотизм неразрушим и вечен. Ничто не вечно под луной — и история доказала это исчерпывающим образом. Более того, отвлекаясь на минуту от ретроспективы, скажу, что такая мощная бомбардировка азиатского ядра деспотизма, как две мировых войны, попросту уничтожила самую основу его существования в качестве самостоятельной политической структуры.

И ныне, во второй половине XX века, существует он скорее как историческое воспоминание, как азиатский пережиток автократических культур, нежели реальность. Современная политическая вселенная сузилась и четко поляризовалась: на одном ее полюсе демократия, на другом — автократия. И двум основным ее политическим структурам (между которыми функционирует, разумеется, еще и множество промежуточных форм) так же четко соответствуют сейчас два типа политической эволюции — поступательный и циклический. Непосредственное историческое творчество — и мучительное, связанное с многократными возвращениями вспять, с гигантской растратой духовных и материальных ресурсов движение спиралевидное. Столбовая дорога демократии, еще несовершенной, нуждающейся в модернизации и развитии, но при всем том очевидно устремленной в будущее, — и окольные пути, по которым фатальным образом отставая от демократических структур, судорожно и безуспешно форсируя историю,

пытаются догнать их и перегнать структуры автократические

Исходя из этого, задача современного человечества может быть представлена как постепенный перевод всех его национальных коллективов с орбит циклических на орбиты поступательные.

И с этой точки зрения исторический опыт российской автократии, позволяющий исследовать ряд закономерностей ее циклов, выяснить природу их основных элементов, разобраться в причинах ее кратковременных триумфов, обрекавших ее на вековую отсталость, и вообще разработать некое подобие "периодической таблицы" автократии, обретает, согласитесь, интерес самый живой и непосредственный, актуальность первостепенную.

И тем более печально в этой связи, что сей главный факт русской политической истории, сама ее автократическая природа бесследно испаряется как в интерпретации "деспотистов", так и в интерпретации "абсолютистов". Прискорбно это потому, что лишает русскую историю ее великого и поучительного смысла, не дает возможности утилизировать гигантскую сокровищницу ее реального опыта, что вся действительно важная ее проблематика не только не исследована нашей исторической наукой хотя бы на уровне гипотетическом, но и основательнейшим образом запутана, обогащена скорее бессодержательными парадоксами, нежели плодотворными поисками.

#### § 4. ДЕФИНИЦИОННЫЙ ХАОС

Остановиться здесь хоть на некоторых из этих парадоксов совершенно необходимо для того, чтобы показать удручающую бесплодность ситуации, в которой оказалась историческая наука, не вооруженная в как дом конкретном случае своей "теорией среднего уровня". Обратим сначала внимание на феномен совершенно уникальный и, как мне раньше казалось, в науке прямо невозможный: историки спорят между собой, не испытывая решительно никакой потребности дать определение предмету своих разногласий. Иначе говоря, спорят, порогу не имея общей почвы для спора!

Казалось бы, уж такая фундаментальная категория русской политической истории, как "самодержавие", должна бы обладать хоть черновой, хоть рабочей, но все-таки однозначной дефиницией. Увы, в каждой из статей уже упомянутой дискуссии о русском абсолютизме, а в обобщающем докладе акад. Л. Черепнина и вовсе на одной странице, фигурируют, например, две цитаты из сочинений В.И. Ленина,

и каждая из них - на том уровне интерпретации, которым пользуются оппоненты - полностью противоречит другой, попросту отрицает другую.

Вот первая цитата: "Самодержавие (абсолютизм, неограниченная власть) есть такая форма правления, при которой верховная власть принадлежит всецело и нераздельно (неограниченно) царю". Из этой цитаты однозначно следует, что самодержавие существовало в России, по крайней мере, с XVI века. Но вот вторая, уже известная нам цитата: "Русское самодержавие XVII века с боярской думой и боярской аристократией не похоже на самодержавие XVIII века..."

Спрашивается, если самодержавие есть власть неограниченная, то как могла она в то же время быть ограниченной (боярской думой и боярской аристократией)? Ведь так же просто не бывает.

Или, быть может, оппоненты станут отрицать, что боярская дума была именно реальным ограничением неограниченной власти? Так достаточно ведь просто взглянуть на бесчисленные акты XVII века, чтобы убедиться, что боярский совет выступает в них полностью легализованным официальным элементом законодательного процесса, без санкции которого ни одна акция верховной власти не считалась законной. Я мог бы сослаться здесь на авторитетное заключение В.О.Ключевского, единственного русского историка, специально исследовавшего структуру, функции и динамику института боярской думы. "Признавали, - пишет он о ней, - что состав ее не вполне зависит от усмотрения государя, а должен согласовываться с боярской иерархией, что эта дума есть постоянно действующее учреждение, которое направляет текущие дела... словом, признавали, что это не государев только, но и государственный совет". Я мог бы сослаться далее и на заключение акад. Е.В.Тарле, специально исследовавшего проблему абсолютизма, что "абсолютизм ограниченный есть логический и фактический абсурд".

Но сошлюсь я только на категорическое мнение участника дискуссии Н.Павленко, утверждающего, что "история становления абсолютизма есть история освобождения самодержавия от боярской думы". И разве иначе судят оппоненты Павленко - А.Давидович и С.Шокровский, когда пишут, что "восстания в городах середины XVII века и крестьянская война 1670-1671 гг. показали господствующему классу феодалов необходимость поступиться средневековыми привилегиями в пользу неограниченной власти царя"?

Ясно, стало быть, что до "освобождения от боярской думы", как утверждает Н. Павленко, или до городских восстаний и крестьянской войны, как утверждают его оппоненты, русское самодержавие неограниченной властью, а значит, и вообще самодержавием, т.е. самим собою не было!

Каким же образом тогда совмещают несовместимое участники дискуссии, каким образом удастся им исповедовать сразу две и притом противоположных веры?

Что до противоречия в указанных ленинских дефинициях, разделенных целым десятилетием политической борьбы, то оно как раз на более глубоком уровне интерпретации, в общем контексте ленинских взглядов на политическую историю России, предполагающем исследование интимного механизма их становления и развития, устранимо. Но что сказать о серьезных исследователях и опытных полемистах, благополучно цитирующих зараз обе взаимоисключающие дефиниции, делая вид, что не замечают или действительно не замечая в них логического противоречия?

И ведь на этом парадоксы, к сожалению, не кончаются. С этого они только начинаются. Например, М. Павлова-Сильванская и А. Шапиро утверждают в своих дискуссионных статьях, что русское самодержавие XVI-XVII веков представляло собой некое подобие варварской азиатской монархии, восточного деспотизма, спонтанно эволюционировавшего в XVIII веке в классический европейский абсолютизм. То же самое, по существу, утверждает и А. Аврех, спрашивая: "Какие основные черты отделяют абсолютистское государство, скажем, от феодального государства московских царей" и отвечая на собственный вопрос так: "Главное отличие состоит в том, что оно перестает быть деспотией.."

Но ведь в такой трактовке азиатский деспотизм, суть которого именно в неограниченности и состоит, оказывается, как это ни парадоксально, более ограниченным, нежели европейский абсолютизм!

Но это еще что! Тот же А. Аврех, отвечая своим оппонентам, заявляет буквально следующее:

"В формально-юридическом плане проблемы, собственно, нет.

Тут вопрос ясен: абсолютизм, самодержавие, неограниченная монархия, как указывал В.И. Ленин, суть синонимы... С этой точки зрения в равной мере являются абсолютными монархиями не только Петр I и Фридрих II, но и султан Абдул-Гамид и римский император Калигула. Самодержавицей была не только Екатерина II, но и китайская императрица Ци-Си."

Иначе говоря, никакого различия между деспотией и абсолютизмом вообще не существует.

Но коли так, то следует ли удивляться тому, что другой участник дискуссии А. Сахаров и вовсе приписывает "восточный деспотизм" европейскому абсолютизму? "Между "восточной деспотией" Ивана Грозного, - пишет он, - и столь же "восточной деспотией" Елизаветы Английской разница не так уж велика... Принципиального различия не существовало... Западно-европейские феодальные монархии XV-XVI вв. недалеко продвинулись по части демократии по сравнению с опричниной Ивана Грозного, ибо и в них присутствует вся та "азиатчина", которую почему-то упорно привязывают лишь к русскому абсолютизму."

Как видим, дефиниционный нигилизм, свойственный всем без исключения участникам дискуссии, пришел, наконец, к своему логическому завершению, к полному и безоговорочному абсурду: все, как говорится, смешалось в доме Облонских. "Монархия", "абсолютизм", "восточная деспотия", "авторитаризм", "самодержавие", "неограниченная власть", "автократия", "русский деспотизм" употребляются попеременно как синонимы, как однородные определения, напрочь запутывая вопрос о реальных формах организации государственной власти, полностью отрезая все пути к их рациональной классификации, к выяснению их конкретной роли в конкретных обстоятельствах средневековой Европы. В конце концов, уже Аристотель знал пять (5!) различных форм одной только монархии. А мы, выходят, спустя два с лишним тысячелетия после "политики" знаем только одну!

Ну возможен ли вообразить, чтобы современные физики спорили об электронах или химики об элементах, не представляя себе, что вообще это такое - электрон или элемент? И чтобы в результате оказалось, что один имел в виду под электроном позитрон, а другой под элементом - всю периодическую систему Менделеева? Ведь даже схоластические споры в средневековых университетах невозможны были без дефиниций, смысл которых был бы понят и принят всеми оппонентами, а наши историки во второй половине XX века превосходно, как видим, обходятся без этого. Как же и назвать это иначе, нежели дефиниционный хаос?

Беда, однако, в том, что пронизывает он не только споры о категории "самодержавие", но и все вообще, к чему прикасается эта прагматическая наука, сама себя лишившая философского содержания. Перечислить все просто немислимо. Остановимся поэтому



только на нескольких не менее фундаментальных категориях.

Очень легко обнаружить, например, что в нашей исторической науке отсутствует дефиниция "политический прогресс". Отсутствует, стало быть, критерий политического развития. И неизвестно, что тут добро и что зло, что от чего и к чему движется, что позитивно и что отрицательно.

И хотя это не входит и не может входить в мою задачу, но поскольку писать о политическом развитии немислимо, не выяснив предварительно основополагающий вопрос о его критерии, я попробую вкратце, вчерне отдать себе в этом отчет.

Если принять за отправную точку представление о том, что эволюция человечества непрерывна, что она лишь меняет формы, превращаясь из биологической в социальную и политическую, и сохраняет при этом свою основную функцию - создание видов наиболее устойчивых и пластичных, способных адаптироваться к любым метаморфозам меняющейся среды, то мы легко увидим, сколь решающую роль играет в сотворении наиболее стабильных, а стало быть, и высших "политических видов" механизм преемственности власти.

Грубо говоря, история знает всего три типа таких механизмов: передачу власти по наследству, демократический механизм и право сильного, т.е. примитивную драку за власть.

Опыт свидетельствует, что политические системы, уже отказавшиеся от первого типа, но еще не обретшие второго, оказываются наименее устойчивыми и пластичными и, следовательно, представляют собою самый низший "политический вид". Следующим по степени устойчивости выступает первый тип механизмов преемственности, а высшим является демократический механизм, обеспечивающий наибольшую стабильность "политического вида".

И если мы принимаем эту черновую схему, то критерий политического развития очевиден: все, что движет общественную систему в сторону обретения демократических культурных традиций и демократических институтов, - позитивно, все, что движет ее в противоположном направлении, - отрицательно.

Но, приняв хотя бы такую элементарную, так сказать, двоичную схему, историки уже не могли бы путаться в трех соснах, дружно объявляя, например, ликвидацию Грозным традиционного абсолютизма и замену его крепостнической автократией, обрекшей страну на циклический, полуазиатский характер развития, явлением позитивным, объявляя опричнину Ивана 1У или опричнину Петра 1 - прогрессом.

Ибо сколько бы войн ни вел Грозный и сколько бы верфей и мануфактур ни выстроил Петр, объективный смысл их деятельности не приближал страну к демократии, а отдалял от нее, неизбежно, снова и снова заводя ее в тупик отсталости, не давая ей вырваться из рокового автократического цикла, развращая политическую культуру народа, укореняя в ней автократические стереотипы.

Историографией опричнины мы будем заниматься подробно, не даром же вторая глава книги называется "Иваниана". Здесь мы только вкратце проиллюстрируем указанный тезис.

Вот в 1956 г. акад. Д.Лихачев решительно утверждает, что

"из двух борющихся внутри феодального класса групп прогрессивной была несомненно (разрядка моя - А.Я.) дворянская... К служилому дворянству в известной мере может быть отнесено то, что говорили Маркс и Энгельс о прогрессивном классе... Боярство стремилось сохранить старое. В призыве к этому и заключалась, главным образом, идеология боярства... Идеал Курбского - - разделение власти между царем и боярством. Это был явный компромисс между старым и новым - компромисс, на который должны были идти самые реакционные круги боярства под всепобеждающим давлением исторического поступательного движения." Благовещенскому протопопу Сильвестру ставится в вину как коварные и лицемерные козни, что "даже обращаясь к царю, Сильвестр в завуалированной форме говорит о необходимости ограничения власти государя."

Таким образом, "ограничение власти государя" трактуется историком-марксистом как порок и крамола со стороны "самых реакционных кругов боярства" - совершенно в духе первого нашего историка В.Н.Татищева, который в своем труде, посвященном "Всепресветлейшей державнейшей государыне императрице и самодержице всероссийской великой, премудрой, матери отечества, государыне всемиловитивейшей и проч., и проч., и проч.", тоже ведь решительно утверждал, что

"из сего всяк может видеть, сколь монаршеское правление государству нашему прочих полезнее, через которое богатство, сила и слава государства умножается, а через прочие умаляется и гибнет."

В задачу этого параграфа вовсе не входит оспаривать изображение дворянства в XVI веке как "прогрессивного класса", "класса, совершающего революцию", как олицетворение "всепобеждающего давления исторического поступательного движения", так же, как не входит в нее оспаривать "ограничение власти государя" в качестве акции, от которой "государство умаляется и гибнет". Для упрощения дела

согласимся с Д.Лихачевым во всем. Здесь нас будет интересовать только один вопрос.

Общезвестно, что политическое утверждение "революционного класса" имело своим неукоснительным последствием утверждение на Руси крепостничества, т.е. самого зверского, расточительного и реакционного способа эксплуатации народных сил, способа, роковым образом пронизавшего впоследствии все поры русского политического организма. Так спрашивается, разве сопротивлялись этому "революционному классу" только самые реакционные круги боярства, разве не сопротивлялись ему, сколько могли и как умели, и трудящиеся массы, загоняемые на века в крепостную кабалу, разве не сопротивлялись они ему, поднимая грандиозные бунты и погибая в крестьянских войнах, своею кровью оплачивая воспетое Д.Лихачевым воцарение "прогрессивного класса"? Так отчего же не назовет он реакционным и это, куда более страшное и кровавое сопротивление "историческому поступательному движению"?

Ведь это же элементарно. Если крепостническое дворянство и впрямь олицетворяло исторический прогресс, то очевидно, что все силы, противостоящие ему, безразлично сверху или снизу, должны были представлять регресс, либо, что то же самое, - реакцию. Так можно ли, как делает это Д.Лихачев, выступать одновременно апологетом закрепостителей и закрепощаемых, можно ли зараз петь гимны угнетателям и угнетаемым, с равным воодушевлением восславляя тех и других? Повторяю, я здесь не спорю, я только спрашиваю. А именно, спрашиваю я, отчего не желает мой оппонент следовать правилам элементарной логики?

Вообще не принято было у нас как-то до самого последнего времени анализировать объективную социально-политическую функцию крестьянских восстаний, т.е. их реальную роль в государственном строительстве и в развитии политической культуры. Полагали достаточными полуюэмоциональные, провикнутые неподдельным сочувствием характеристики. И когда Л.Черепнин в докладе на советско-итальянской конференции историков в 1968 г. выступил с утверждением, правда, не аргументированным, что "в крестьянской войне можно видеть одну из причин того, что в России более чем на полувековой срок задержался переход к абсолютизму", это, безусловно, было шагом вперед. Но увы, опять-таки шагом, который вел лишь к очередным пара доксам.

В самом деле, абсолютизм в докладе Л.Черепнина трактуется,

во всяком случае, в начальном своем периоде, как безусловно прогрессивная форма русского политического строительства. Но как же, спрашивается, назвать тогда социальную акцию, на полувековой срок задержавшую торжество прогресса? Не регрессивной ли? Не реакционной?

Этого Л.Черепнин, конечно, не делает, ибо крестьянской войне он сочувствует в еще большей степени, нежели абсолютизму. Но ведь сочувствие не снимает логического противоречия!

И дальше — больше. Признавая, что "попытки утвердить абсолютизм, связанные с политикой Ивана Грозного и выразившиеся в учреждении опричнины, вылились в открытую крепостническую диктатуру, приняли самые уродливые формы деспотизма", на следующей странице Л.Черепнин тем не менее утверждает, что "ослабив боярскую аристократию и подкрепив государственную централизацию, опричнина в известной мере расчистила путь абсолютизму." Иначе говоря, кровавое воцарение крепостничества сослужило все-таки свою службу прогрессу!

Так далеко ли, спрашивается, ушли мы от гимнов дворянству как крепостническому "революционному классу", которые десятилетием раньше слышали от Д.Лихачева?

И чему здесь удивляться, если в "Истории СССР", официально утвержденной в 1966 г. в качестве учебника для педагогических вузов, простоудушно, черным по белому написано, что "поскольку опричнина была направлена против знати, она носила прогрессивный характер...?"

Так мыслима ли вообще концепция, в рамках которой существовали бы столь откровенно непримиренные логические коллизии? Конечно, немислима. И стало быть, никакой такой концепции русского политического развития историческая наука наша попросту не имеет. Если мы припомним теперь, что в ней вообще отсутствует дефиниция "политический прогресс", то поймем, что и не может быть у нее такой концепции. Нечем ей исследовать политическую историю: нет у нее для этого ни методологических предпосылок, ни рабочих гипотез, ни технического инструментария.

Посмотрим, наконец, может ли она объяснить сам этот фундаментальный парадокс русской истории — введение в XVI веке крепостного права, парадокс истории уже не политической, а социальной, той самой, ради которой она по сути отказалась от исследования политической истории России, той самой, в которой она, казалось

он, должна чувствовать себя потому несопоставимо уверенней

Первый — по времени — лидер нашей исторической науки М.Н. Покровский видел, конечно, в опричнине Грозного "экономический переворот, крушение старого вотчинного землевладения", торжество помещиков над боярством, отождествленное им с торжеством прогрессивных товарно-денежных отношений над архаическими натуральными. И все получалось у него складно — как раз до того пункта, где "прогрессивный помещик" превращался вдруг в организатора средневекового крепостничества. "Его победа, — восклицает Покровский, — должна была бы обозначить крупный хозяйственный успех — окончательное торжество "денежной" системы над "натуральной". На деле мы видим совсем иное." Вот эта странная метаморфоза, повергшая в прах всю его конструкцию, осталась до конца для Покровского загадочной и необъяснимой.

"Ро имя экономического прогресса, раздавив феодального вотчинника, помещик очень быстро сам становится экономически отсталым типом: вот каким парадоксом заканчивается история русского народного хозяйства эпохи Грозного."

Естественно, что этот парадокс не заставил искусственного историка пересмотреть свои постулаты, усомниться в том, а должна ли была действительно победа дворянства означать экономический прогресс. Нет, усомниться в постулатах он не посмел, усомнился он в себе, усомнился в возможностях тогдашней науки, возложив все надежды на то, что его "последователи в деле применения материалистического метода к данным русского прошлого будут счастливее".

Таково было завещание патриарха нашей исторической науки, таков был генеральный вопрос, поставленный им перед последователями более полувека назад.

Последователи, как известно, обвинив его в переоценке экономического и в недооценке классового фактора социального развития, первым делом бестрепетно пожертвовали им самим. Но ведь это, согласитесь, еще не было ответом на поставленный им вопрос. Ответ содержится в классической работе акад. Б. Грекова "крестьяне на Руси". посмотрим же, как разрешен в ней парадокс Покровского.

"По мере разрастания хозяйственной разрухи 70-80-х гг., — пишет Греков, — количество крестьянских переходов росло... служилая масса не смогла оставаться спокойной. Не могла молчать и власть помещичьего государства. Радикальное и немедленное разре-

шения крестьянского вопроса сделалось неизбежным... отмена Юрьева дня сделана была в интересах этой прослойки землевладельцев, в целях укрепления материального их положения."

Но, позвольте, ведь это же и Покровский говорил! Равне в том заключался вопрос, в чьих интересах было введение крепостничества? Ясно, что не в интересах крестьян и не в интересах бояр, которые в насильственном закреплении крестьянства не нуждались. Но каким же все-таки образом "прогрессивное дворянство", которому ведь и Греков в прогрессивности не отказывает, явилось вдруг носителем регресса? Вот же на что следовало отвечать. И вот на что нет ответа в классическом труде Грекова.

Нет ответа, но есть уход от вопроса.

И вследствие этого воцарение на Руси крепостничества в XVI веке представляло процессом мрачным, но фатальным. Его загадочность и парадоксальность, провозглашенная Покровским, сменилась у Грекова роковой неотвратимостью. Еще бы! Конечно же, "власть помещичьего государства" "по мере разрастания хозяйственного кризиса" "не могла молчать". Вот как все, оказывается, просто и однозначно. И никаких парадоксов!

Но, во-первых, кто ответит нам на вопрос, откуда взялась а та всеопределяющая "хозяйственная разруха", следствием чего была она? И с каких пор московское боярское государство стало "помещичьим"? И почему оно таким стало?

Во-вторых, можно ведь взглянуть на дело и иначе, можно спросить: а если бы "разрухи" не было, если бы государство "помещичьим" не стало, то крепостного права могло на Руси и не быть?

Казалось бы, элементарные, казалось бы, сами собой напрашивающиеся вопросы. Но дебатам они не подлежат. Никем они не поставлены. Там же, как на страже парадокса стоял в свое время ниспровергнутый ныне авторитет Покровского, так на пороге всех этих вопросов высится теперь гранитный авторитет Грекова.

На самом деле, ровно ничего фатального в торжестве крепостного права на Руси не было. На самом деле это ошибка. Ошибка методологическая, философская, основанная на однозначной интерпретации гегелевского постулата о том, что "свобода есть познанная необходимость". И достаточно вспомнить, что экономический процесс в России XVI в. был, как все на свете, противоречив, что он, следовательно, заключал в себе не одну сакральную "необходимость", а по меньшей мере две в равной степени объективные и альтернатив-

ные "необходимости", чтобы из факта торжества крепостничества улетучилась всякая тень парадоксальности, а заодно и мрачного фатализма, которыми поочередно вооружались для его объяснения историки-марксисты.

Какой же в самом деле парадокс в том, что в недрах народно-го хозяйства страны боролись два типа экономического развития, которым соответствовали и два типа социальной дифференциации: взрывавшая на землях черносошного севера и под защитой "боярско-вотчинного землевладения" в центре страны крестьянская дифференциация, обещающая - при условии элементарных гарантий личного и имущественного статуса граждан - обыкновенный европейско-абсолютистский прогресс; и зародившаяся с конца XV века в недрах "верхнего класса" феодальная дифференциация, обещающая в случае торжества дворянско-помещичьей фракции феодальную реакцию и крепостническую автократию? Что в этом парадоксального? Ведь это и была в действительности классовая борьба, которую наши историки ищут почему-то исключительно в крестьянских восстаниях, в этом было подлинное ее содержание.

И ничего нет парадоксального в том, что решающий выбор экономической стратегии оказался в руках государства, что путь, по которому пойдет страна, определялся тем, на чью чашу весов, на чашу боярско-крестьянскую или помещичье-крепостническую, положит свою гирию политика. Ведь вся суть дела, ускользнувшая, к сожалению, и от Покровского, и от Грекова, в том, что экономика - вовсе не мистический фетиш, однозначно диктующий политике свою программу, но всего лишь аморфный и противоречивый ее материал. В том, что сама по себе экономика ничего не творит и никуда не ведет, что творит и ведет она посредством людей, облеченных властью выбирать одни и отвергать другие предложенные ею программы. Экономика только предлагает выбор. А решают люди, претворяющие ее глухие и противоречивые "шумы" в ясный и четкий язык экономической и политической стратегии.

Другой вопрос, отчего это люди, облеченные такой властью в Москве середины XVI века, выбрали не программу крестьянской дифференциации, но программу феодальной реакции, не абсолютизм, но автократию. Ответ на него заключен не в анализе экономических процессов, а в анализе процессов политических и идейных, которым и займемся мы подробно в следующих главах этой работы.

Здесь же хотелось мне только подчеркнуть, что без исследо-

вания политических институтов и идеологий, без философии истории немислимо разрешить и социально-исторические парадоксы, просто ничего невозможно в истории сделать.

Именно в отсутствии жанра философии истории и лежит, как видим, конечная, определяющая причина дефиниционного хаоса, царящего в нашей исторической науке, причина недисциплинированности и недостаточной строгости ее мысли, причина ее поверхностности и декоративной иллюстративности.

## § 5. АБСОЛЮТИЗМ И АВТОКРАТИЯ

Жан Боден - современник Грозного и автор классической аполгии абсолютизма, оказавшей колоссальное влияние на всю идеологическую традицию этого режима, выступил в своей "Республике" не меньшим радикалом, нежели Грозный в посланиях Курбскому. Он тоже полагал, что "на земле нет ничего более высокого после Бога, нежели суверенные государи, установленный им как его лейтенанты для управления людьми и что тот, кто "отказывает в уважении своему суверенному государю, тот отказывает в уважении самому Богу, образом которого он является на земле". Более того, существенным признаком гражданина Боден, вопреки аристотелевской традиции, считал не участие в верховной власти, в суде и в совете, а совсем даже наоборот - безусловное его подчинение неограниченной власти.

И при всем том, в писаниях двух этих крупнейших идеологов XVI века есть существенная разница, которая кажется мне принципиальной.

А именно, имущество граждан Боден рассматривал как их неотчуждаемое достояние, в распоряжении которым они не менее суверенны, чем государь в распоряжении своим народом. И оттого брать с них налоги, представлявшие собою часть этого неотчуждаемого достояния, брать их без ведома и добровольного согласия граждан, означало, с точки зрения Бодена, обыкновенный грабеж.

Полностью отрицая какие-либо юридические ограничения власти, Боден столь же категорично отстаивал иные формы ее ограничения - экономические.

Могут сказать, что здесь есть противоречие. Верно. Но в этом противоречии и состоит, грубо говоря, суть отличия абсолютизма от



автократии.

Рассмотрим в этой связи одно из самых кардинальных событий царствования Грозного — новгородскую, как писал Маркс "кровавую баню" 1570 г., сопровождавшуюся массовой резней и тотальным грабежом населения. Ни один уважающий себя историк не верит уже сейчас в то, что "баня" эта вызвана была реальной или хотя бы предполагаемой "крамолой". Напротив, твердо установлено, что дело было сфабриковано в недрах опричного сыска и, как говорит Р.Скрынников, специально исследовавший вопрос в своей книге "Опричный террор",

"погром Новгорода не имел никакого оправдания, и причинами его, помимо ослепления опричного руководства, были разве что корыстные интересы опричной казны".

Стоит, пожалуй, изложить некоторые подробности дела словами самого исследователя.

"Государев разгром явился полной катастрофой для крупнейших новгородских монастырей. Черное духовенство было ограблено до нитки... В дни разгрома опричники разграбили многочисленные торговые помещения и склады Новгорода и разорили новгородский торг. Все конфискованный у торговых людей деньги и наиболее ценные товары стали добычей казны. Новгородский посад стал жертвой дикого, бессмысленного разгрома. Опричники грабили не только торги, но и дома посадских людей. Они ломали ворота, выставляли окна в домах. "Были снесены все новые построй-ки, — свидетельствует участник погрома, — было иссечено все красивое: ворота, лестницы, окна." Посадских людей, которые пытались противиться насилию, убивали на месте... Мелкие отряды опричников грабили поместья и деревни по всем новгородским пятинам... Опричная казна наложила руку на сокровища псковских монастырей. Местные монахи были ограблены до нитки. У них отняли не только деньги, но также иконы и кресты, драгоценную церковную утварь и книги. Опричники сняли с соборов и увезли в Слободу колокола... Количество жертв новгородского погрома не поддается точному исчислению. Известный исследователь новгородской истории... подсчитал, что в погроме погибло не менее 40 тысяч человек..."

Полагаю, нет надобности длить эту скорбную повесть. Суть ее ясна: армия и полиция, институты, созданные для поддержания общественного порядка, обрушились на собственный, совершенно незащищенный от них народ, растерзали его и надругались над ним, пре-

вратив богатейшие области страны в пустыню. Но террор был лишь формой события, Сутью его был грабеж — разбойное ограбление собственного народа органами охраны общественного порядка.

А теперь обратите внимание, что за столетие до этого события Новгороду пришлось пережить аналогичную экзекуцию со стороны Ивана III. Причем тогда, в 1470 г., были не смутные подозрения относительно литовской крамолы, а прямая, открытая измена: в Новгороде победила партия Борецких, сумевшая повести за собой вече и заключить соглашение с великим князем Казимиром. Для того, чтобы привести Новгород к повиновению, с ним надо было воевать — в буквальном смысле этого слова. Надо было, как свидетельствует летописец, садиться против него на коня. Вот же они, казалось бы, почва и повод для разгрома матежной "отчины"! И что же?

Победив, Иван III расправился с оппозицией радикально и жес-токо: лидеры ее были казнены, вечево́й колокол снят, историческая структура вольного города разрушена, целые роды потенциальных крамольников переселены в "низовые города", а на их место посажены надежные люди.

Но расправился Иван III с оппозицией, а не с Новгородом. Он уничтожил в зародыше самое семя измены, но город жил при нем и процветал. В том-то и дело, что он был **х о з я и н о м** державы, и Новгород нужен был ему как часть страны, лишенная исторической автономии, но живая, здоровая и богатая, а не обращенная в пепел. Это была его родная земля, которую следовало централизовать, а не уничтожить, привязать к Москве, а не воспитать в ней вековую ненависть.

Это было отношение хозяина-абсолютиста, а не отношение завоевателя-автократа, которое продемонстрировал в аналогичной ситуации Грозный. И притом не такого прагматического и дальновидного завоевателя, как татары Батия, стремившиеся долго и исправно эксплуатировать завоеванное, но — хищника, варвара, вандала, который желал только опустошить, снять сливки, промотать и пропить награбленное и которому то, что будет с этой страной дальше, совершенно не было интересно.

Я оттого так подробно остановился на этом эпизоде русской истории, что он представляет нам редкую возможность проверить теоретическую посылку практическим опытом, своего рода историческим экспериментом, словно бы специально поставленным самой

и жизнью, чтобы дать нам возможность воочию убедиться в том, как страшно разнятся между собой абсолютизм и автократия.

Иван III мог бы стать идеалом Бодена. Он считал себя суверенным государем и, конечно же, не признавал никаких юридических ограничений своей власти. Но при всей своей неограниченности, государь этот тем не менее не смел преступить — во всяком случае за свое долгие, самое долгие в русской истории сорокатрахлетнее царствование — не преступил экономических ограничений власти. Имущество граждан оставалось при нем их имуществом, а не объектом грабежа а, собственность — собственностью, а не резервным сундуком казны.

Как видим, Иван Боден вовсе не был политическим фантазером. И первая тонкая грань между абсолютизмом и автократией уже начинает, кажется, вырисовываться. Попробуем проявить ее четче, практически опытом французского абсолютизма, вообще более других склонного к автократическим приемам. Посмотрим, например, какой практический комментарий к искомой грани даст нам судьба французских средневековых парламентов.

Известно, что они ничего общего не имели с парламентом английским, за посягательства на законодательные права которого столько монархов заплатили короной и жизнью. Французские парламенты — институт строго судебного свойства, возникший из введенной современником Ивана III Франциском I продажи государственных должностей в собственность. Приобретая таким образом несменяемости и наследственно-аристократический статус, парламенты на протяжении трех столетий систематически пытались выйти за пределы собственной компетенции — на административный и даже политический простор. Но нас сейчас интересует вовсе не это.

Интересует нас то обстоятельство, что, как говорит проф. Н. Кареев,

«неограниченная монархия таким образом вынуждена была терпеть около себя самостоятельные корпорации наследственных судей: каждого из них и всех их вместе можно было, пожалуй, сослать куда угодно, но прогнать с занимаемого места было нельзя, потому что это значило бы... нарушить право собственности».

Вновь сталкиваемся мы здесь с этой странной и противоречивой чертой абсолютизма: не признавая юридических ограничений, он вынужден считаться с ограничениями экономическими, не преступая, как правило, некоего невидимого и неписанного, но столь же, ока-

зывается, твердого, как моисеева скрижаль, закона.

Это противоречие вносило, как видим, существенную д е ф о - р м а ц и ю в гранитную, казалось бы, цельность неограниченного по замыслу политического тела, непрестанно декларировавшего свою почти божественную суверенность. На деле суверенность эта наталкивалась на другие корпоративные политические тела и вынуждена была мириться с их существованием, как мирился английский абсолютизм с парламентом, французский - с провинциальными штатами, датский - с рейхсдагом, то игнорируя их, то превращая в орудие своего произвола, то вновь и вновь признавая налагаемые ими ограничения...

Да уже самый тот факт, что Франциск I, нуждаясь в деньгах, не разграбил, допустим, Марсель, как сделал бы Грозный, а пустил в торговый оборот государственные долги, факт, что долги эти покунали и, стало быть доверяли правительству, факт, что даже в мрачные автократические сумерки Франции неписанное это правило никогда не было нарушено, самый факт этот представляет собою историческое свидетельство первостепенной важности.

Это понимали даже современники. Рассказывают, что когда один французский дипломат сослался в беседе со своим английским коллегой на известную декларацию Людовика XIV о богатстве королей ("Все, что находится в пределах их государств... принадлежит им... и деньги, находящиеся в их казне... и те, которые они оставляют в обороте своих подданных"), то услышал в ответ: "Неужели вы учились государственному праву в Турции?"

Он мог бы, этот высокомерный англичанин, употребить для своей презрительной отповеди и пример России.

Но смысл этой отповеди заключался именно в том, что не следует путать европейский абсолютизм с чем-то принципиально от него отличным. Ибо абсолютизм этот имел дело с мощным, сложным, набитым коварными преданиями и предрассудками, полным грозным отзвуком былого сопротивления тирании политическим телом. Сословия еще не забыли, что когда-то обладали правом вооруженного сопротивления власти. Я подчеркиваю - п р а в о м. Правом, согласно которому сопротивление, если, конечно, оно было средством восстановления нарушенных вольностей, реставрации священной "старинны", вовсе не считалось в средневековом политическом сознании бунтом или мятежом, а напротив, вполне легальным деянием.

Вспомните, что реализацией этого права были Великая хартия

вольностей, которую вынужден был даровать баронам и городу Лондону король Джон в Англии, и аналогичная ей Золотая булла, которой добилось от короля Андрея в 1222 г. венгерское магнатство. Разве забываются навсегда такие права?

Вспомните, что было время, когда арагонские кортесы заявляли вступающему на престол королю устами верховного судьи следующее:

"Мы который значим столько же, сколько и вы, и которые гораздо могущественнее вас, делаем вас нашим королем и господином, но с тем условием, чтобы вы охраняли наши права. Если нет, то нет!" Разве забываются навсегда такие гордые речи?

А ведь и простое право петиций вовсе не было таким уж безобидным, когда превращалось в руках сословий в орудие политического шантажа. Достаточно вспомнить, как на Генеральных штатах в Блуа в 1576 г., в то самое десятилетие, когда Грозный громил Новгород, правительство девять раз возобновляло просьбу о деньгах и девять раз получало отказ!

Но особо поучительная реакция Генеральных штатов на смерть тирана, когда общественное сознание устами своих депутатов делает отчаянную попытку не только осознать произошедшую драму глубоко, до самых ее корней, но и исправить ошибку, сотворить надежный политический механизм исправления подобных ошибок. Я решаюсь привести здесь отрывки из речей депутатов на штатах 1483 г., созванных сразу после смерти Людовика XI.

Вот что говорил на них Мирабо XV века, дворянский депутат Филипп Понт:

"Известно, что королевская власть есть должность, а не собственность монарха а... В интересах народа — избирать своих победителей. Но монархи снабжались сильной властью не для того, чтобы обогащаться за счет народа, но чтобы обогащать государство и способствовать его благосостоянию. Если они поступают иначе, то это тираны... Кто не знает, что государство есть произведение народа? Но если это так, то как же народ может уступать кому-либо свои заботы о нем? Каким же образом низкие льстецы могут присваивать верховную власть монарху, если последний существует не иначе, как волею народа? Народ имеет двойное право влиять на дела, во-первых, потому, что он властелин, и, во-вторых, потому что он жертва дурного управления. Он не имеет права царствовать, но, обратите внимание, он имеет право управлять государством через

тех, кого он избирает... Вы, депутаты трех сословий, являетесь представителями воли всех и вам нечего бояться организовать правительство."

И как трогательна в XV веке эта ссылка на исторические права народа, которой Филипп убеждает колеблющихся. "Сколько подобных примеров представляет нам история!" — восклицает он.

"Итак, господа, имейте же более доверия к самим себе и подумайте о свободе сословий, которую столь доблестно защищали ваши предки. Не будьте слабее ваших отцов. Бойтесь того дня, когда потомство обвинит вас в гибели государства." Это ведь говорилось пять столетий назад, в то самое время, которое кажется нам теперь беспросветным дремучим средневековьем, мрачными сумерками разума...

Да, мы знаем теперь, что даже великие и пророческие речи не в состоянии остановить историю. Но все-таки речь эта была, все-таки стала она влеточкой народной памяти, фактом общественного сознания, навеки легла в фундамент политической культуры народа, и после нее нельзя было жить так, словно бы ее вовсе не было, и любой, даже самый высокомерный король где-то, на уровне поджелудочной железы, должен был знать это и помнить. А вот московский царь не должен был: ибо не было и не могло быть таких речей в средневековой Москве.

Напротив, произнося свою знаменитую речь на избирательном соборе после свержения самозванца, воцарившегося на Руси именем Грозного, Василий Шуйский вовсе не дезавуалировал тирана, которого сам еще хорошо помнил и страшился. Нет, он только противопоставил "порядок", который был при Грозном, произволу Годунова. Нет, даже согласившись на практике ограничить свою власть, идеологически он сам оставался рабом автократических стереотипов. Просто удивительно, до какой степени не умели учиться у истории хозяева земли русской...

Но если речь Филиппа тогда была все-таки орлиным взлетом за пределы средневековья, то дух и пафос более ординарных речей на этих штатах тоже ведь сводился к тому, что потом только о б о б щ и л Жан Боден, к утверждению экономических ограничений власти. Как говорил депутат третьего сословия Масселин,

"народ в монархии есть верховный собственник своего имущества, и последнее нельзя отнимать у него против его воли. Народ свободен, он не раб, а подданный короля... От нас очень далека

мысль об унижении королевской власти, но мы убеждены, что интересы подданных суть в то же время и интересы короля, и что приведением в порядок общественных дел мы одновременно оказываем услугу как королю, так и королевству."

Это был, как видим, страстный протест против автономии управления от системы, призыв к социальному контролю над ней, но ядром его были убеждение, что "народ есть верховный собственник своего и м у щ е с т в а."

И снова убеждаемся мы здесь, что Боден не был политическим фантазером, что экономические ограничения власти прочно были вмонтированы в структуру европейского сознания, были одним из тех его атрибутов, которые отличали его от сознания московского. Вык одит, в презрительном замечании английского дипломата действительно что-то реальное содержалось.

Уже за столетие до Бодена Джон Фортескью в своей "Похвале английским законам" определял это неуловимое "что-то" как различие между королевским и политическим правлением и всю специфику первого усматривал в произвольных поборах, тогда как "брать у кого-либо что-нибудь из его достояния без его согласия и без вознаграждения противно, - по мнению Фортескью, - законам." А два столетия спустя после Бодена Монтескье, возрождая аристотелевскую классификацию форм единоличной власти, уже четко определяет это что-то как разницу между монархией и деспотией.

Но кроме открытых Фортескью и Боденом экономических ограничений политической власти, Монтескье, хоть и смутно, различал уже и вторую тонкую грань, отделяющую абсолютизм от автократии, грань, которую мы назовем условно ограничениями идеологическими.

Великий мыслитель прямо связывал степень устойчивости или, как он говорил, "подверженности порче" того или иного "политического вида" с соблюдением им своего доминирующего "принципа". Если принципом аристократического (боярского) правления он считал умеренность (склонность к компромиссам), принципом монархии - чувство чести, то принципом деспотии (автократии) полагал он исключительно страх.

"Умеренное правительство, - писал Монтескье, обобщая современный ему политический опыт, - может сколько ему угодно и без опасности для себя ослаблять вожжи... Но если при деспотическом правлении государь хоть на минуту опускает руки, когда он не может

сразу же уничтожить людей, занимающих в государстве первые места, то все потеряно..."

Методы управления здесь предельно просты.

"Все должно вертеться на двух-трех идеях, а новых отнюдь не нужно. Когда вы дрессируете какое-либо животное, вы очень остерегаетесь менять его учителя или приемы обучения: вы ударяете по его мозгу двумя-тремя движениями, не больше."

В интересах этой идейной минимизации автократия вынуждена взять под свой контроль не только имущественное, но и духовное достояние подданных, не только материальное, но и идейное производство страны. Она не может допустить, чтобы идеи рождались и расходились бесконтрольно и беспрепятственно, ибо это грозит ей изобличением и гибелью. Поэтому с тем же откровенным бесстыдством, с каким обкрадывает она сундуки своих подданных, она обкрадывает и их головы.

Таким образом, ликвидация автократией идеологических ограничений власти есть лишь обратная сторона ликвидации ею ограничений экономических. Идейный грабеж есть обратная сторона грабежа имущественного. Есть лишь необходимое к нему дополнение.

Но такая, казалось бы, идеально удобная для управления структура имеет существенный недостаток. Ведь идейное производство призвано обеспечить обратную связь в общественной системе, а стало быть, и ее стабильность. В том-то вся и суть, что это отнюдь не архитектурное излишество, как кажется автократам, не предмет роскоши, без которого можно обойтись, в том-то и суть, что обличая неэффективность управления и исправляя его ошибки, идейное производство исполняет необходимую функцию в общественном развитии. Функцию, без которой само это развитие невозможно. И, насильственно подавляя идеи, автократическое управление само делает регулируемую систему предельно неустойчивой и неэффективной, постоянно балансирующей на грани "хозяйственной разрухи".

Но ведь обличение неэффективности тоже, как мы помним, несет автократии гибель.

И мечась в этом заколдованном круге, между Сциллой "вольномыслия" и Харибдой "хозяйственной разрухи", она просто выбирает то, что может хоть несколько продлить ее власть, следуя тривиальному принципу Хаджи Насреддина, взявшегося за двадцать лет обучить цацкого осла корану: "К тому времени кто-нибудь обязательно умрет -



- либо царь, либо осел, либо я..."

Монтескье, конечно, выражает это в других терминах. Он говорит, что деспотический принцип не допускает ни рассуждений, ни возражений, ни собственных представлений у исполнителей, говорит, что "принцип" такой системы более других подвержен "порче", мало того, он "портится беспрерывно, ибо он по самой природе своей испорчен".

Идея "деспотизма" неэффективна. Рассчитанная на локальный эффект, она приводит к глобальному краху - вот его заключение, которое он поясняет великолепным примером: "Когда дикари Луизианы хотят достать плод, они срезают дерево у корня и достают его - вот и все деспотическое правление."

Когда опричнина Грозного нуждается в деньгах, она не продает должностей, как французские короли, не созывает парламенты, как английские, она варварски-примитивно грабит страну, используя полицию как инструмент легального разбоя, она "срезает дерево у корня" и приводит страну к краху.

Что касается абсолютизма, то, не будучи подвержен имманентной "порче", не опасаясь, иначе говоря, поминутно за власть, он не видит смертельной угрозы в оппозиционных идеях. Он, стало быть, падит не только материальный потенциал страны, но и ее потенциал мыслительный. Он, как правило, не покушается на идейную монополию. Другими словами, он не исполняет, наряду с административной, еще и идеологическую функцию. Он управляет поведением своих подданных, но вовсе не их помыслами, не интимными их отправлениями. Автократия же посягает именно на это!

Абсолютизм управляет только людьми, тогда как автократия вынуждена управлять еще и идеями. И скудость, неквалифицированность тех "двух-трех идей", которыми она, как говорил Монтескье, "ударяет по мозгу" дрессируемого народа, объясняется тем, что берется она за дело, которое просто не умеет исполнить. Бездарная и бесплодная, она пытается благонамеренно скучными бюрократическими прописями заменить вековую квалификацию идейной службы общества, которой она выкручивает руки, расточает по рудникам и казематам, отправляет в пещлы и на плаху...

Но на время, на срок жизни одного-двух поколений, локальный эффект бывал на ее стороне. Она могла делать со своим народом то, что решительно недоступно было абсолютизму, давить его и грабить в полную хамскую свою волю. Абсолютизм провозглашает

автономию управления от регулируемой системы, автократия практически ее р е а л и з у е т. Автократия есть недостижимый идеал абсолютизма, его образец, его, если угодно, утопия, венец его стремлений, который никогда не удается ему надолго укрепить на своей воле.

Французский современник Курбского дю-Плесси-Морне в своей знаменитой "Тягбе против тиранов" говорит почти дословно то же самое, что московский изгнанник. "Тиран, - говорит он, - отделяется от неприятных ему сановников, обвиняя их в воображаемых заговорах, терроризируя справедливых и серьезных людей" ("сильных во Израиле" - говорит Курбский). Тиран не советуется с сословиями и народом ("не любосоветен" - говорит Курбский). Тиран противопоставляет им продажных наемников, грабит имущество подданных ("создает чад Авраамовых из камня, желает крови своих братьев и губит их ради их убогих вотчин" - говорит Курбский).

Но Курбский, как это ни странно на первый взгляд, идет дальше своего европейского коллеги по борьбе против тирании, он не только клеймит и обличает, он, предваряя Монтескье, видит во всем этом не просто смертный грех тирана, но и залог н е э ф ф е к т и в н о с т и системы, предвестье ее близкого краха. С поистине пророческой страстью предрекает он: "горе грабящим и кровь проливающим и милости и суда не имущим во властях своих, занеже день отмщения близ есть!"

Да и что ж удивительного, что оказался Курбский прозорливей дю-Плесси-морне? Разве приходилось тому видеть опричнину, позор Твери и Новгорода, ужас тотального террора, полное крушение абсолютизма? Разве мог он себе представить, что такое бывает? Как ни отстала в XVI веке Россия, политический опыт ее был богаче, радикальнее и драматичней европейского!

Европа знала тогда реформацию и религиозные войны, знала автократические попытки и декларации государей, но не ведала она величайшей исторической метаморфозы абсолютизма в автократию, полного крушения всех ограничений власти, разве что в Турции или Китае слыханного произвола.

Европейские тираны полицейскими мерами насаждали свой порядок, в России полиция превратилась в орудие беспорядка. Европейские тираны знали, что за тиранию приходится платить порою и жизнью, а в России - не ведали. Европейские абсолютисты мечтали об автократии, в автократической России абсолютизм стал о п п о з и-

д и е й .

Любопытно с этой точки зрения рассмотреть излюбленный аргумент апологетов Грозного, отрицающих отличие русского управления от европейского, аргумент, совсем недавно, в 1971 г., сформулированный А. Сахаровым. Отчасти мы с ним уже знакомы. Гласит он, что

"западно-европейские феодальные монархии XV-XVI вв. недалеко продвинулись по части демократии по сравнению с опричниной Ивана Грозного... Если мы попытаемся сравнить абсолютистские режимы в России XVIII-XIX вв. и, скажем, в Англии и Франции XVI-XVII вв., то окажется, что и там и тут "дети предбуржуазного периода" не отличались особым гуманизмом, и камеры Бастилии и Тауэра не уступали по своей крепости казематам Шлиссельбурга и Алексеевского рavelина."

Не станем касаться здесьязящего сопоставления политических тюрем России XIX века и Англии века XVII. Ведь в том-то и заключается трудность дела, чтобы объяснить, отчего в России и два столетия спустя возможно было то, что могло иметь место лишь в Англии средневековой. Логическая несообразность здесь очевидна: оппонент ссылается как раз на то, что требуется объяснить. Но мы остановимся лишь на событиях сравнимых, синхронных.

Франция, например, и впрямь пережила в эпоху опричнины легендарную Варфоломеевскую ночь, а Швеция чуть раньше - "Стокгольмскую кровавую баню", сравним их с новгородским погромом и посмотрим, что получится.

Не забудем, во-первых, что Варфоломеевская ночь стояла трона династии Валуа, а Стокгольмская баня - короны и свободы королю Кристиану II, тогда как Грозный спокойно правил после погрома еще 14 лет. Правил бы и дальше, если бы жил. В одном случае экстраординарные автократические злодеяния натолкнулись на организованную оппозицию, в другом - либерально-абсолютистская оппозиция, застигнутая врасплох, была деморализована и смята. И ничего, кроме словесных протестов, не смогла противопоставить по свежим следам событий автократическим устремлениям Грозного.

Во-вторых, и Варфоломеевская ночь и Стокгольмская баня имели вовсе не фискальный, а политический смысл.

Кристиан II, датский король, только что захвативший Швецию, стремился обезглавить национальную оппозицию..

В Париже католики истребляли гугенотов, и абсолютизм способствовал этому, стараясь погасить религиозную рознь, истребив одну партию руками другой. Иначе говоря, в одном случае с обыкновенным средневековым варварством истребляли иноземцев, в другом — иноверцев.

Так сравнимо ли это с новгородским погромом, где русские истребляли русских, православные — православных, где опричники истребляли граждан без всякой, как мы уже знаем, политической надобности, кроме, разумеется, надобности пограбить своих соотечественников и единоверцев? Где единственным основанием резни была бесконтрольная воля державного автократора, его маниакальная подозрительность, анонимные допросы и ненасытная алчность шайки временщиков, которая стала вдруг правительством великой страны и, по полному отсутствию элементарного государственного разума, даже не догадывалась, что не обязательно грабить каждого гражданина в отдельности, а можно посредством налогов грабить всех совокупно и систематически?

Нет, дело, конечно, не в том, что один абсолютизм плох, а другой хорош, и ничем Тауэр не уютнее Шлиссельбурга: любой абсолютизм, дай ему волю, станет автократией, ибо по природе своей стремится к ней, как магнитная стрелка к северу. Дело в том, что на собственном горьком опыте убеждался европейский абсолютизм, что ему можно и чего нельзя делать, до какого порога смеет он презреть ограничения своей власти, какого предела он не преидеши, ибо за ним стоит смерть.

какова сила ограничений, таков и абсолютизм. политический режим зависит от политической культуры народа...

Так зачем же тогда болтать о "демократии" и "гуманизме", если речь идет об элементарной политической целесообразности, если то, что для европейского абсолютизма оставалось мерой экстраординарной и смертельно опасной, стало в Москве н о р м о й государственного функционирования?

Автократия осмелилась перечеркнуть все формы социального контроля, заблокировать обратную связь, навязать системе соблазнительную своей простотой, но страшную своими последствиями "идею деспотизма", осмелилась — и это сошло ей с рук!

Она осталась безнаказанной, если, конечно, не считать того, что, подобно Сатурну, пожрала одного за другим собственных детей. Но ведь такова ее всегдашняя судьба, ее нормальная логика, след-

ствие того, что, как говорил Монтескье, "принцип ее по природе своей испорчен".

Да, автократия себя наказала, но общество ее не наказало. И этим создало прецедент громадной политической силы. Этим позволило укорениться в своем политическом мышлении сознанию правомерности автократических способов управления, культурной традиции авторитаризма. Этим облегчило свою неготовность к оппозиции, свою политическую незрелость, свою неспособность противопоставить автократии эффективную альтернативу, ничего, кроме ссылок на авторитет политического предания и "любосоветность" Ивана III. Ничего, другими словами, кроме консервативно-абсолютистской утопии.

В том-то и дело, что абсолютизм Ивана III встретил на пути своей исторической метаморфозы в автократию минимальные помехи. А с другой стороны, коварное и роковое свойство автократической революции Грозного заключалось в том, что опричнина его была не просто политическим экспериментом, но и своего рода культурной революцией.

## § 6. КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, ОПРИЧНИНА И ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Вообще распространенное представление о культурной революции как об экстренном и форсированном просвещении масс, заимствованное из арсенала просвещенного абсолютизма, вовсе не кажется мне ни исчерпывающим, ни точным. На самом деле культурная революция есть, по-видимому, насильственная ломка целых слоев фундаментальных культурных стереотипов и насаждение новых. Причем, вовсе не обязательно позитивных.

Ведь помимо уже проанализированных нами экономических и идеологических ограничений произвола власти, есть еще и более глубокий пласт ограничений, на котором, словно на фундаменте, зиждутся все остальные. Я имею в виду культурные ограничения.

Ну, допустим, в какой-нибудь стране власть усматривает в волосяном покрове своих подданных или длине их одежды, или в курении ими табака политическую проблему - мятеж и оппозицию. Допустим, что она регулирует эти интимные подробности при посредстве полицейских мер и административных указов, хотя, честно говоря, трудно представить себе, чтобы даже такие очевидные автократы, как Генрих

Уш или Людовик XIV, претендовали на монопольное определение ширины фижм у своих придворных дам или манжет у кавалеров. Для этого существовали какие-то иные, более тонкие механизмы, в виде, скажем, общественных приличий или моды...

Но в России власть всегда лучше знала и сколькими перстами людям креститься, и какой длины бороды носить, курить ли им табак, пить ли водку, желать или не желать жену ближнего своего. Царь Алексей жестоко ополчился на брадобритие, а Петр, наоборот, рассматривал бороды своих сограждан как оскорбление власти и бунт и соглашался терпеть их лишь в качестве особой статьи государственного бюджета. Царь Михаил строжайше запрещал употребление табака, а тот же Петр за 20 тысяч фунтов продал маркизу Кармартену монопольную привилегию отравлять никотином легкие россиян. В 1697 г. издан был указ, запрещающий сибирским служилым и всяким чинов людям, и женам их и детям хорошо одеваться, ибо

"знатно, что те служилые люди, у которых такое излишнее дорогое платье есть, делают его не от правого своего пожитку, кражею нашея великого государя казны или с иноземцев грабежом те богатства себе наживают". Иначе говоря, настолько очевидно было государству, что от трудов праведных не наживешь палат каменных, что и не пойманный считался вором, и сам "пожиток" - свидетельством во ровства и достаточным основанием для кары...

Дело, однако, не в подробностях, дело в том, что народное сознание признавало право власти на вмешательство во все детали частной жизни граждан, что не только дом их не был их крепостью, но и бороды их не были их собственностью, и вкусы, и мысли их им не принадлежали. Государственное регулирование семейной их жизнедеятельности не вызывало у них естественного протеста, и готовы они были мириться не только с нарушением своих политических и хозяйственных, но и интимных прав. Культурная традиция не выработала защитных механизмов, которые сделали бы невозможным, невыносимым, оскорбительным для человеческого достоинства само это попрание глубочайших, фундаментальных ограничений произвола власти.

В таком контексте политическую культуру народа можно было бы определить как совокупность ограничений власти, интроецированных в его обыденное сознание и унаследованное им от предшествующих поколений в качестве культурной традиции.

А культурная революция предстанет в этом контексте как рожде-

ние новых, или, напротив, разрушение существующих ограничений.

"Унаследованные идеи - забавная штука, и очень любопытно наблюдать их и изучать", - говорил Марк Твен, объясняя, почему "если вы родитесь и вырастаете под властью монархии и аристократии, вы никогда сами не догадаетесь об оскорбительности своего положения и не поверите, если кто-нибудь вам об этом скажет". Не поверите потому именно, что сам угол зрения, под которым рассматриваете вы свой политический статус, сам критерий его оценки прочно интроецирован в ваше сознание общественной средой, потому что он запрограммирован в вас политической культурой вашего народа, которую вы впитали, можно сказать с молоком матери.

С этой точки зрения "Янки при дворе короля Артура" есть классическое исследование столкновения двух типов политических культур, волею гения сошедших лицом к лицу.

вспомните, как поражен янки тем, что попал

"в страну, где право высказывать свой взгляд на управление государством принадлежало всего шести человекам из каждой тысячи. Если бы остальные 994 человека выразили свое недовольство образом правления и предложили изменить его, эта шестерка содрогнулась бы, ужаснувшись таким отсутствием верности и чести, и признала бы всех недовольных черными изменниками. иными словами, я был акционером компании, 994 участника которой вкладывают все деньги и делают всю работу, а остальные шестеро, избрав себя несменяемыми членами правления, получают все дивиденды. мне казалось, что 994 оставшихся в дураках, должны перетасовать карты и снова сдать их."

Акционерная терминология, примененная к анализу феодализма, только кажется комичной. На самом деле она описывает положение вещей предельно точно. Не понимает наш янки лишь одного, лишь исторической обусловленности той структуры управления, которая так возмущает его демократический здравый смысл. Он оценивает ситуацию под углом зрения расхожих критериев своего времени, унаследованных им от своих пуританских предков, под углом зрения политической культуры штата Коннектикут, в конституции которого сказано черным по белому, что

"вся политическая власть принадлежит народу... и народ имеет неоспоримое и неотъемлемое право во всякое время изменять форму правления, как найдет нужным."

Но весь "народ" в политическом смысле этого слова категория вовсе не метафизическая. Она развивается - от нуля и до демократии

И народа, который он с такой горечью упрекает в "животной верности монархии", на самом деле в феодальной системе просто не существует. Как политической величины его нет, ибо индекс его политической культуры стоит на нуле. Ибо так же, как каждый отдельный индивид лишь с той поры становится личностью, когда самостоятельно выбирает свою судьбу, так и человеческие коллективы начинают превращаться в народ только с того момента, как научаются влиять на решение своих судеб, научаются ограничивать управление, постепенно, в трудном эмпирическом поиске обогащая свою политическую культуру, со смехом и слезами, а порою и с кровью и ужасом расставаясь со старыми представлениями и усваивая новые, обретая статус граждан, испытывающих потребность "изменять форму правления как найдут нужным".

Конституция Коннектикута не свалилась с неба, она — итог тысячелетнего политического развития человечества, она поистине выстрадана им — вот чего не понимает наш славный дяки. Дорога к демократии вымощена историческими парадоксами, революциями и реакциями. Но она должна быть пройдена и пережита народом, чтобы он обрел самого себя, из "народа" превратился в Народ. Ибо в политической культуре нет ничего мистического, она есть совокупность опыта, отраженная в совокупности "унаследованных идей".

но из этого следует неоспоримо, что понятие "прогресс" (я имею в виду, конечно, прогресс политический) вовсе не безоговорочно совпадает с понятием демократии, трактуемой буквалистски как "власть народа". Как раз наоборот, власть "народа", если речь идет о политически неопытном, политически неразвитом, политически некультурном народе означает обыкновенно хорошо декорированную реакцию. Педаром же впервые ввел в европейскую политическую культуру всеобщее избирательное право тиранический гений Наполеона III. А за ним — Бисмарк.

на самом деле, суть вовсе не в "демократической" формулировке власти, не во всеобщем голосовании и не в числе "людей из народа", призванных на сцену этой "демократии" в качестве статистов, прикрывающих закулисную "несменяемость членов правления".

Суть дела именно в этой несменяемости.

"Несменяемость" эта, конечно, условна, ибо человек смертен, и смена поколений несет в собою и смену несменяемых. Проблема в том, что порядок этой смены, что механизм преемственности власти,



безразлично в монархической или "демократической" структуре происходит дело, остается при этом первобытной примитивной дракой за власть, исход которой зависит не от воли народа, а от того, кто кому перегрызет горло в очередной "шестерке несменяемых".

Иначе говоря, без современного демократического механизма преэминентности власти, свидетельствующего о зрелости политической культуры народа, никакая "власть народа" не есть демократия. Без него она есть только мистификация демократии, только, по известному предположению великого Стагирита, - "охлократия", которую почитал он наихудшей формой тирании.

История подтвердила гипотезу Аристотеля. Тирания, или говоря нашим языком, автократия неоднократно на протяжении веков прибегала во всех затруднительных случаях к этой мистификации, связывала свою судьбу именно с охлократической и эгалитарной "народностью".

История русской автократии - неоспоримое тому свидетельство. Со времен Грозного оказалась она в фокусе интересов всех социальных групп системы: боролись они между собой не за ее уничтожение, а за использование ее в своих интересах. И чем ниже стояла та или иная социальная группа, тем больше верила она в царя: крестьянство верило в него как в Бога. "Народность", ставшая в николаевскую эпоху - наряду с "православием" и "самодержавием" - идеологическим символом автократии, была лишь официальным признанием, лишь легализацией этого фундаментального факта русской политической культуры.

Первой обратилась к "народу", как к источнику и оправданию своих политических притязаний и "несменяемости", российская автократия. Российская интеллигенция только последовала ее примеру.

Однако и она, так же мало, как и автократия, понимала, что реальное содержание "власти народа" зависит не от формального ее провозглашения, но от богатства, от заряженности, можно сказать, от знака его политического опыта. В каждый миг "власть народа" могла обернуться в ней, как пророчествовал Александр Блок, "своей азиатской рожей".

Страшную шутку сыграло забвение этой элементарной аристотелевской истины и со средневековыми эгалитариями, и с английскими левеллерами, и с Руссо и его "Общественным договором", и - главное! - с русской политической мыслью XIX столетия. Но об этом мы подробно поговорим в своем месте. А сейчас вернемся к теоретичес-

кой стороне дела.

Когда одна из конкурирующих в общественном сознании политических традиций побеждает другую, она, естественно, стремится внедрить свою доктрину в толщу народной культуры, превратить ее из системы идеологических символов в систему культурных стереотипов. Делает она это для того, чтобы обеспечить автоматизм нужных ей поведенческих реакций. Для того, чтобы стабилизироваться и увековечить себя в самой консервативной и надежной среде, какую только представляет ей, так сказать, социальная материя, в среде глубоких и неосознаваемых, не требующих мотивировок социально-психологических мотивировок, своего рода политических безусловных рефлексов.

Для этого именно и нужна культурная революция, ситуация тотального переворота, сопровождающаяся, как правило, террором: только при помощи такой глубокой встряски можно взломать мощные защитные оболочки наличной культуры, выпотрошить их и наполнить новым содержанием. Другими словами, для этого нужна опричнина. Ибо она и была орудием культурной революции. Опричники были штурмовиками Грозного. И когда мавр сделал свое дело, Грозный расправился с ними так же, как в ночь длинных ножей расправился со своими опричниками Гитлер.

Если сила западного абсолютизма, будучи обратно пропорциональна сопротивлению социального тела, вынуждена была, как правило, довольствоваться монополией политической власти, то автократическая революция Грозного шла значительно дальше. Терроризировав общество, она порушила и экономические и идеологические ограничения, посягнула на культурные, вознамерилась стать Сверхмонополией, взять в свои руки все нити народного труда, как говорил Ключевский, и все нити народной культуры.

Но этим историческое значение опричнины не исчерпывается. Более чем наивно локализовать ее в этом смысле в Александровской слободе XVI в., как делают наши историки. Ибо на самом деле опричнина просто есть способ функционирования полуазиатской политической системы, просуществовавшей много столетий.

В этом смысле суть опричнины заключается в отчуждении от государственной администрации ее политических функций. В учреждении над ординарной управленческой структурой особого института, концентрирующего в своих руках политический контроль над регулируемой системой. В двухслойной структуре управления, основанной на двух

параллельных иерархиях власти, одна из которых сохраняет при этом верховную суверенность, а другая выступает ее исполнительным органом. Опричнина — это не разделение властей, а разделение функций между политической и административной властями.

То, что опричнина Грозного была непосредственно территориальным разделением страны, автономией политики от администрации, так сказать, в натуре, в пространственном измерении, относится лишь к форме ее, а не к сути. Просто это была максимизация политического контроля при минимуме административных средств в средневековой общественной системе.

Петру, полтора года спустя введшему свою опричнину, никакой уже не было надобности в расслоении страны на политическую и административную части, ибо он создал концентрированный аппарат политического контроля в лице своей гвардии. Воплощением петровской опричнины был уже не псевдорыцарский орден, поставленный Грозным над боярской думой, продолжавшей как ни в чем не бывало исполнять административные функции, но автономия армии.

Роль Александровской слободы Грозного играл теперь Петербург. Я говорю не о той лежащей на поверхности параллели, согласно которой Петербург был столь же грубой пародией на итальянские маскарально-карнавальные шествия XVII столетия, как Слобода — на немецкий рыцарский орден столетия XIII. Петербург был настоящей опричной столицей, столицей гвардии и бюрократии, как Слобода была столицей преторианцев Грозного.

Столь же уникальной в Европе была и третья — жандармско-идеологическая опричнина Николая I в XIX веке, когда главным условием монопольного политического контроля стал контроль над идеями, цензура общественного мнения, когда, почив на лаврах 1812 года, Россия сделала очередную попытку опередить "изношенную духом" Европу. и в этом стремлении главным своим преимуществом полагала не экономическое и даже не военное превосходство над нею, а именно идеологическую монолитность.

И заметьте, что когда крымский разгром неопровержимо засвидетельствовал иллюзорность этой идеологической опричнины и развязал опасные и стремительные абсолютистские процессы, подрывая самый фундамент автократической культуры, из недр ее поднялся новый пророк "насильственного прогресса", новый проповедник опричнины, казалось бы, столь уж основательно забытой к концу прошлого столетия. Я говорю об удивительном идейном феномене

русского консерватизма, о человеке, которого Н. Бердяев характеризовал как "крупнейшего, единственного крупного мыслителя консервативного лагеря", я говорю о Константине Леонтьеве. О нем писали как о втором Ницше (Розанов) или втором Шпенглере (Аверинцев), как о человеке, который в Германии был бы вторым Бисмарком (Закржевский), как о "Кромвеле без меча", но никто еще не сказал, что человек этот выработал план новой опричнины. Такой, какой она только и могла быть, по его мнению, в XX веке.

И это снова был план расслоения страны на две части — на две России, праведную и грешную, истинную и ложную, политическую и административную!

Нет сомнения, что, выработывая свою опричную программу на пороге XX века, Леонтьев и в мыслях не имел Грозного, ни одного слова об опричнине вы в сочинениях его не отыщите, и вообще московская архаика ничуть его не занимала, и все-таки... И все-таки столь могущественнен был автократический стереотип, что нечаянно и бессознательно мысль величайшего русского реакционера XIX века приняла форму, отлитую Грозным.

Мне кажется, что "византийская", псевдосоциалистическая и при всем том совершенно опричная программа Леонтьева представляет важнейший аргумент в пользу автократического строя русской культуры, доказательство того, что опричнина была той универсальной политической формой, которую автократия — в отличие от европейского абсолютизма — стремилась принять в свой тяжкий час для своего спасения и регенерации в самых различных исторических условиях.

Итак, я попытался наметить хотя бы пунктирно в этом кратком по необходимости очерке опричнины следующее исторически опричнина была:

- 1) способом утверждения или регенерации автократии;
- 2) орудием необходимой для этого культурной революции;
- 3) политической формой Сверхмонополии власти.

В этом смысле она представляет собою уникальное в европейской политической истории явление.

И теперь мы можем констатировать совершенно отчетливо, что спутать абсолютизм с автократией можно только при одном условии, при условии, если счесть политические ограничения власти единственно возможной формой ее ограничения. В этом именно и состоит, по-видимому, методологическая база дефиниционного хаоса.

Вот и подошли мы, наконец, к определению абсолютизма как

структуры управления общественной системы, структуры, не признающей со стороны этой системы никаких юридических ограничений, претендующей на монополию политической власти.

Определив абсолютизм таким образом, мы уже не сможем толковать его расширительно, распространять его на самую глубокую деспотическую древность, вплоть до империи Навуходоносора и Рамзеса, как это было принято совсем еще недавно. Ибо такое определение локализует абсолютизм как политический институт позднефеодального происхождения и свойства, оставивший в наследство новому времени не только интегрированное и централизованное посредством бюрократического аппарата государство, но и мощную культурно-политическую традицию.

Я особенно настойчиво подчеркиваю, что политические ограничения власти — лишь один, самый верхний, а потому самый нестабильный и призрачный уровень ограничений, существующий в общественных системах. Самим по себе им грош цена, они могут быть отменены или фальсифицированы любым удачливым лидером, если не опираются на другие, более глубокие уровни ограничений, которых можно насчитать, как мы видели, по меньшей мере еще три: уровень экономических, уровень идеологических и, наконец, самый фундаментальный уровень культурных ограничений.

Лишь внедрив современные демократические стереотипы в толщу этой массовой культуры, общественная система получает серьезные гарантии от реставрации автократических притязаний своих лидеров и функционеров.

Очевидно, что массовая культура может быть более или менее авторитарной. Степень ее авторитарности как раз и зависит от того, насколько глубоко и успешно внедрены в нее конкурирующие с авторитарными демократические стереотипы. Но этой выходит уже за пределы нашей темы. Ибо важно для нас сейчас не столько различие между авторитарными и демократическими структурами, сколько определение степени авторитарности культуры. Ибо абсолютизм и автократия различаются между собой именно по степени, именно по тому, сколько уровней ограничений отваживаются они игнорировать.

Так что же в конечном счете получили мы, положив в основу нашего типологического анализа категории "политической культуры"? Кажется, мы теперь уже можем попытаться вывести некое подобие формулы, если можно так выразиться, "политического закона Ома". Формулы, которая гласила бы, что эффективность абсолютистской

общественной системы прямо пропорциональна числу ограничений, зафиксированных в ее политической культуре, или, иначе говоря, уровню контроля системы над управлением, и обратно пропорциональна степени ее автономности.

Категория политической культуры дает нам, далее, достаточно четкий критерий для оценки деятельности тех или иных социальных групп, господствовавших в России на протяжении ее истории и представлявших их российских правительств. С этой позиции мы отчетливо видим, что прогрессивность и эффективность каждой из этих групп находилась в прямой зависимости от того, была ли она заинтересована в контроле системы над управлением, отвечал ли такой контроль объективным условиям ее функционирования и, стало быть, ее субъективным устремлениям.

## § 7. АВТОКРАТИЯ И ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ

Теперь нам, чтобы покончить с этой темой, остается еще один, может быть, самый трудный вопрос, на который у меня нет исчерпывающего ответа и который поэтому тем более заслуживает обсуждения. Речь идет о проблеме социальной регуляции в различных типах политических структур. Я говорю, что это трудный вопрос, потому что, сколько мне известно, никто и никогда его еще не поставил. В самом деле, мы знаем уже, как выглядят две крайние точки, два "полюса" саморегулирующихся общественных систем — архаическая регуляция статичного феодального государства и представительная регуляция современного динамического общества.

В первом случае ось регуляции, ее идеальной нормой и точкой отсчета служат фиксированные в памяти поколений — обычай, традиция, "старина". Любое отклонение от оси закреплялось в личном или коллективном договоре — все равно в ординарном ли договоре крестьянина с сеньором или в Золотой булле — и договор, таким образом, служил реальным средством корректировки традиций.

да, в средневековом обществе существовал верховный, никем не оспариваемый авторитет, непререкаемая апелляционная инстанция, которая открывала возможность саморегуляции системы и решения которой не смели оспаривать даже короли. "Старина" не только заменяла этому обществу правовое основание, она была его логикой и его душой, его политическим механизмом. Но при всех своих несомненных достоинствах она имела и один столь же несомненный недостаток. Она

обрекала систему на жесткий консерватизм. Она обеспечивала только простое его политическое воспроизводство, только саморегулирование, но не самодвижение. Она лишала его динамичности.

На другом полюсе, в современном динамическом обществе открытием нового времени была, как известно, демократия со своим всеобщим равным и тайным голосованием, которое в каждые 3-4 года исполняло функцию обратной связи или, если угодно, корректировки политических программ, устраняя негодные - практически доказавшие свою негодность - программы и заменяя их новыми. Таким образом эта новая ось саморегуляции дает возможность системе исправлять ошибки управления, обеспечивая максимально эффективное его функционирование.

Именно благодаря своей практически эффективности демократия в оправданиях не нуждается. Она доказала свою истинность самым своим существованием, тем, что не только допускает, но и предполагает перманентную мобилизацию общественной мысли для исправления собственных несовершенств, тем, что, уподобляясь таким образом биологическому виду, обладает способностью самоизлечения. Но, не нуждаясь в оправдании, она нуждается в объяснении.

Давно известно, что из всех существующих биологических видов лишь очень немногие, в том числе и в первую голову человек, убивает себе подобных, что в вид Хомо сапиенс не вмонтировано генетически самое сильное биологическое ограничение - "не убий!" Совершенно очевидно, что все известные нам религиозные системы, все системы морали или права были своего рода суррогатом этого биологического ограничения, что так же, как человечество стремится заменить синтетикой естественные продукты животноводства и земледелия, так стремилось оно от века заменить отсутствующий естественный орган своего рода социальной синтетикой.

Но, с другой стороны, известно, что именно этот вид, лишенный такого важного ограничения, оказался способен к сознательному самосовершенствованию, к производству орудий производства и самопознания, предопределившему сверхестественную скорость его развития и в конечном счете суверенное его положение на планете.

Так нет ли между двумя этими свойствами вида Хомо сапиенс, между отсутствием некоторых естественных ограничений и исключительной скоростью развития - органической связи? Не было ли это отсутствие платой за эту скорость? Не представила ли

природа в ходе своего бесконечного экспериментирования одному из необозримого множества созданных ею видов исключительного права самоопределения, прав выбора убивать или не убивать, развиваться до самых высоких вершин цивилизации или уничтожить самого себя?

И не является ли поэтому отнятие у человека или у человеческих коллективов этого права, присвоение его себе управлением, не является ли оно преступлением не только перед цивилизацией, но и перед самой природой вида? Не ведет ли она, эта варварская автономия управления кратчайшим путем к его, учитывая современные гомерические средства убийства, самоуничтожению? Не превращает ли она, отнимая у человеческих коллективов священное право самоопределения, поднявшее человеческий род из биологического небытия, не превращает ли она общество в нечто гораздо худшее, нежели волчья стая, ибо в отличие от волчьей стаи, лишается оно в этих условиях не только социальных, но и биологических ограничений?

И не является ли поэтому демократия для современной эпохи не благочестивым пожеланием, не утопической конструкцией, а железной, можно сказать, почти биологической необходимостью, единственно способной обеспечить выживание вида, продолжение истории?

И ничего здесь не утверждаю. И только спрашиваю. Более того, задавая эти вопросы, я испытываю мучительную неуверенность в самой их правомерности. Но давайте рассудим, ведь природа, лишившая одно из своих детищ биологической однозначности, давшая ему возможность самому выбирать — жить ему или не жить, обрекая его тем самым на невообразимые для любого другого вида страдания, действительно требует от человечества либо научиться исправлять свои ошибки самому, либо погибнуть.

Но если это так, то демократия есть не просто один из возможных вариантов социальной саморегуляции, она — единственная альтернатива самоуничтожению человечества.

Не будет демократии — ничего не будет.

Именно таким образом стоит, как мне кажется, вопрос теперь, в век термоядерного оружия и в итоге пяти столетий политической истории.

Вернемся, однако, к этой истории.

Ведь современные формы саморегуляции существуют, как извест-



но, лишь с XIX века, тогда как архаические начали рушиться еще с XIV-XV веков. Так какими же, спрашивается, были формы саморегуляции в промежуточные века, когда средневековые нормы уже разлагались, а современные еще не были открыты, когда "старина" уже не могла, а демократия еще не могла эффективно функционировать?

Мы теперь знаем, что никакая система не может обходиться без перманентной корректировки программ, без механизма исправления ошибок, никакая система не может допустить полной автономии управления. Даже морскому или воздушному лайнеру с автоматическим управлением нужно не только задать цель, но и обеспечить способ корректировки маршрута в меняющихся условиях. Иначе он неминуемо отклонится от курса и даже, попав в конечном счете в пункт назначения, затратит на это неизмеримо больше времени, горючего, усилий, энергии, а может быть и жертв. Другими словами, он выйдет из расписания. Для политических же систем, неизмеримо более сложных, эти избыточные затраты выразятся в нарушении, так сказать, исторического расписания, в систематической неадекватности целей и средств, усилий и результатов, в перманентных диспропорциях политической культуры, в хроническом и глобальном отставании. Значит, какие-то формы саморегуляции должны быть у любой политической системы. Но какие?

Конечно, некое приращение знаний из нашего сопоставления "полюсов" мы уже получили. А именно, мы теперь знаем, что прогрессивней был бы тот тип регуляции, который кратчайшим и наименее болезненным для системы путем вел ее к демократии.

Далее, знаем мы уже теперь, что на определенном этапе политического развития феодального государства универсальным средством корректировки программ выступают всевозможные парламенты, ландтаги, кортесы, земские соборы, опиравшиеся, правда, не столько на презовую, сколько на ту же традиционную основу, не обладавшие никакой определенной политической компетенцией, кроме смиренного права петиций и тем не менее умевшие порою заставить управление себя слушаться.

Как никак, это была форма непосредственного диалога между управлением и системой, незаменимый источник информации о ее состоянии. Но тем не менее, это была еще полусредневековая форма корректировки, решительно не способная обеспечить социальную динамику и прямого перехода от нее к демократии, как показала исто-

рия, не существовало.

Напротив, пришел абсолютизм, попытавшийся выйти из-под контроля системы, и, более того, навязать ей - при помощи своей постоянной армии, бюрократии и полиции - собственный контроль. Пришел абсолютизм, который провозгласил неограниченность своей власти над обществом и предпочел получать необходимую информацию не из парламентских прений, а при помощи допросов, слежки и доносов, абсолютизм, который сделал своим геральдическим символом политическую полицию, а в качестве механизма исправления ошибок использовал не борьбу сословий, а бюрократическую интригу и социальную демагогию.

Как же в этих условиях осуществлялась саморегуляция системы и как, при одинаковом остром дефиците информации и одинаковом отсутствии легальных средств социального контроля, различались между собой типы этой регуляции при абсолютизме и автократии - вот в чем вопрос гигантской, по-моему, трудности. Здесь все зыбко и предположительно, глубоко гипотетично...

Попробуем, однако, приступить к анализу со стороны тех самых экономических и культурных ограничений абсолютистской власти, которые мы уже в предшествующем параграфе зафиксировали. В самом деле, зачем нужны были управлению все эти сословные собрания? В чем состоял их резон для самой власти? Единственно - в деньгах!

Власть не могла, как правило, повышать налоги, т.е. нарушать всемогущую традицию, без санкции общества. Почему? да потому, что экономические ограничения были, как мы уже знаем, составной частью европейской политической культуры, которая и выступала в данном случае в обличье верховного Предания. нарушать его безнаказанно было нельзя. но ведь и деньги нужны были тоже, деньги становились буквально вопросом жизни и смерти. невозможность повышения налогов, т.е. нарушения предания, равнялась политическому параличу. В этих отчаянных метаниях между страхом перед преданием и необходимостью его постоянно нарушать и состоит, собственно, история формирующегося в Европе абсолютизма. Оставалось одно - нарушать предание с благословения самого его носителя - народа в лице его представителей. И, стало быть, терпеть этих представителей. Как гири на ногах, как перья на шее, но терпеть!

В этом смысле можно сказать, что наемные армии и фиксированные традицией налоги дают нам сословную политическую организацию общества так же, как постоянные армии с постоянным же налогом

на их содержание — дают абсолютизм.

Конечно, и абсолютистские правительства постоянно были в финансовых стрессах, в гигантских долгах и никогда не знали нормального баланса доходов и расходов. Достаточно сказать, что именно финансовая безвыходность послужила причиной созыва Долгого парламента, послышавшего на плачу Карла 1, равно как и Генеральных штатов, закончившихся гильотинированием Людовика XVI. Конституционные учреждения Австрии тоже обязаны своим происхождением финансовому краху, соединенному с военным поражением. Я не говорю уже о систематических государственных банкротствах, о том, что в начале XVIII века одни проценты по английскому государственному долгу равнялись всему расходу на армию и флот, долг Австрии в три с половиной раза превышал ее годовой доход, а долг Франции превышал его в восемнадцать раз!

Таково было беспорядочное финансовое функционирование абсолютизма в Европе. И тут нам предстоит неожиданное открытие: в России ничего похожего не было. В России была опричнина.

Если в Европе XVI век был, можно сказать, золотым веком государственного долга, если мощные фирмы Вельзеров или Хоштеттеров, концентрируя в своих руках гигантские средства, могли финансировать все кунштыки абсолютистских правительств, если титаническую международную акцию Контрреформации оплатили шуггеры, то, как говорил п.п. Миллюков, "Россия при всем желании не могла занимать, так как никто ей не верил в долг."

В России в это время была опричнина — тотальное ограбление имущества подданных.

Так удивительно ли, что никто не верил ей в долг? Удивительно ли, что русская валюта оставалась глубоко феодальной, а не современным феноменом, если финансовая деятельность русских правительств более напоминала произвол озверевших оккупантов на вражеской территории, нежели правильное государственное функционирование, если на мировом рынке авторитет ее равнялся нулю?

Ведь это были глубоко связанные между собой вещи. Проблема кредита или, говоря шире, доверия — одна из центральных в судьбе России. Не было доверия между правительством и народом, значит не было сотрудничества, а был произвол — с одной стороны, и обман — с другой. Там, где правительство видело в своем народе только объект эксплуатации, так народ видел в своем правительстве только объект надувательства; там, где правительство уверяло народ, что

он самый счастливый на земле, там народ уверял правительство, что он лучше всех на земле и работает; там, где правительство показывало пример нарушения собственных законов, там народ не мог уважать законность. Народ не поверил бы такому правительству в долг ни гроша.

Но ведь из этого тотального недоверия вытекала и невозможность иностранного кредита и вообще лояльного сотрудничества в концерте европейских держав. Много ли, скажите, было шансов, чтобы те же самые люди, которые без зазрения совести грабили собственных подданных, отказались в случае нужды ограбить иноземных заимодавцев? Чтобы те же самые люди, которые жестоко карали инакомыслящих в своей стране, оказались вдруг терпимыми к инакомыслящим на арене мировой политики? Чтобы те самые люди, которые не признавали никаких ограничений своей власти, стали вдруг признавать в международных делах какие-либо ограничения, кроме грубой силы?

Но ведь из невозможности отечественного и иностранного кредита вытекала, в свою очередь, необходимость все новых и новых налетов на сундуки подданных — это был страшный заколдованный круг автократии!

Нам нет сейчас нужды вникать во все перипетии этой финансовой драмы, ибо важно нам другое: автократия исключала финансовое банкротство, призрак которого постоянно веял над абсолютизмом и, как мы знаем, иногда действительно приводил его в крушение. Автократия не боялась банкротства — и поэтому была несопоставимо менее зависима от системы, нежели абсолютизм. И стало быть, получала возможность беспрепятственно заводить ее в такие дебри и тупики отсталости, в какие не могли — практически не могли — зайти абсолютистские системы. Вот какой следовал отсюда вывод.

Но это лишь первый вывод и одна сторона дела. Другая заключается в том, что, не одолеваясь у зарубежных капиталистов — по необходимости — и у отечественных — с ними нечего было церемониться — разрешая свои финансовые затруднения за счет открытого грабежа своего народа, автократия не просто паразитировала на теле системы, как абсолютизм, она дезорганизовала ее.

Лишая граждан элементарных имущественных гарантий, она отнимала у них инициативу и вообще охоту к экономической самостоятельности. Даже насаждая одной рукой торговлю и промышленность, она сминала, деформировала, разоряла их другую.

Гарантии найти можно было только под крылышком государства,

на его службе — и все устремлялись на службу, и сама экономическая деятельность приобретала парадоксально казенный, чиновничий характер, и уральские владыки Строгановы записывались в опричнину, и вполне частная английская компания тоже этого добивалась — иначе разграбят дотла! Все огосударствляется, все обретает серый, шинельный, нездоровый оттенок казенности, на всем лежит грозный отблеск террора.

Регламентируя все вокруг, опричнина иссушала живые источники социального творчества, блокировала творческое мышление — одно уже это обрекало ее на перманентное отставание. Страх, а не отвага, разрывание начальства, а не коммерческая предприимчивость, чиновничий окрик, а не инициатива — вот что правило российской экономикой.

Другими словами, неординарные финансовые неурядицы, обычные для всякого абсолютизма, характерны для автократии, а то, что она втягивала в свои неурядицы всю экономическую систему, держа ее в состоянии неуывающего хронического дефицита и перманентной неустойчивости.

Это была ужасающая неэффективность, органически присущая автократии, но в которой она предпочитала винить других — бояр, раскольников, новгородцев, воров, стрельцов, казаков, декабристов, евреев, студентов, инородцев, революционеров, кого угодно, но только не себя!

Посмотрите, что обещают цари и кандидаты в цари в Смутное время после смерти тирана, когда задрожала земля под ногами автократии — и вы поймете, что больше всего беспокоило русскую общественную мысль.

Первое, что сделал Шуйский по своему воцарении было публичное заявление в Соборной церкви пречистой Богородицы:

"целую я всей земле крест, что мне не над кем ничего не делать без собору никакого дурна; и есть ли отец виновен, то над сыном ничего не делать; а будет сын виноват... и отцу никакого дурна не сделать."

Достаточно прочитать у известного реакционера прошлого века и, кстати, страстного апологета Грозного, харьковского профессора К. Яроша одну страницу, чтобы стало понятно, о чем здесь идет речь.

"Кровь брызнула повсюду фонтанами, — вынужден признать Ярош, — и русские города и веси огласились стопами... Трепетною рукой перелистываем страницы знаменитого Синодика, останавливаясь с

особенно тяжелым чувством на кратких и многоречивых отметках: помяни, Господи, душу раба твоего такого-то — "с матерью, изженою, и сыном, издочерью..."

Вот что обещает прекратить Шуйский. Но не только это. В крестоцеловальной записи, разосланной им по всем городам русской земли, читаем:

"А поболлил есми яз, Царь и Великий князь Василий Иванович всея Руси целовати крест на том, что мне, Великому Государю всякого человека, не осудя истинным судом с бояры своими, смерти не предати, и вотчин, и дворов, и животов у братьи, и у жен, и у детей не отымати... Так же у гостей и торговых людей... у жен и у детей дворов и лавок и животов не отымати... да и доводов ложных мне, Великому Государю, не слушати, а сыскивать всякими сысками накрепко и ставить с очей на очи, чтоб в том православное христианство безвинно не гибло."

Хватит доносов, хватит грабежей, хватит конфискаций, хватит поголовных казней, хватит произвола! Суд, "истинный суд", защита имущества, экономическое ограничение власти — вот о чем вопиет его устами русская земля.

Вот чего без конца требовала страна от всех своих "начальников", от которых она еще осмеливалась — до следующего тирана — чего-то требовать: элементарных гарантий жизни и имущества требовала. И поистине драматическое впечатление производят эти отчаянные и обреченные попытки. Ибо и триста лет спустя пришлось воскликнуть Афанасию Шапову:

"Вспомните, что в России... при неизмеримом обилии хлебородной почвы... часто бывает недостаток в хлебе, редкий год не бывает неурожая." "Нигде в Европе, — вторил ему немецкий ученый Реден, — урожай не подвержен таким случайностям и изменениям как в России"

Что же могло быть этому виной, как не экономический хаос, сеемый автократией всюду, куда ни ступит ее нога, автократией, искренне почитавшей себя преемницей Бога на земле и столетиями не умевшей сделать даже самое малое — накормить собственный народ черным хлебом.

Но что все это означает теоретически? Что автократическая культура вообще лишена социальной регуляции? И, стало быть, в принципе нестабильна, не способна к длительному вековому функционированию? Но ведь русская история этому противоречит. Во всяком случае возникает вопрос, что обеспечивало при этих условиях

устойчивость системы в течение многих поколений? Полагаю, что ответ на него уже вчерне дан выше: консервативно-абсолютистской оппозиция. Дело в том, что в отличие от восточного деспотизма автократическая культура вовсе не однородна. Как показала история, на базе самодержавия были возможны не только автократические, но и абсолютистские, и либеральные, и даже полуконституционные режимы. Именно эта гибкость и пластичность автократической культуры и обеспечила ее способность к развитию и модернизации. Другое дело, что на базе такой культуры и абсолютизм оказывался псевдоабсолютизмом, а либерализм — псевдолиберализмом. Другое дело, иными словами, что она искажала и деформировала любые режимы, что все они несли на своем челе неизгладимую печать политического экстремизма и казенной бесплодности.

Но вернемся к вопросу о неоднородности автократической культуры. Вторым ее элементом, ее обратной, "теневой" стороной всегда, начиная с грозного, была, как мы уже говорили, консервативно-абсолютистская оппозиция. Сам по себе звездный час автократии система могла выдержать, как показал опыт и грозного, и Петра, и Николая, не более двух-трех десятилетий — срок правления автократора — покуда хозяйство и социальная жизнь страны не были доведены до крайнего предела истощения, как говорится, до упора, опасно испытывавшего народное всетерпение. За этим пределом была пропасть. Тогда и выступала на историческую сцену абсолютистская оппозиция, устанавливавшая на время более нормальные режимы социального регулирования.

Теперь страна начинала мечтать о "покое" — и власть делала уступки командующим слоям, прекращала прямой грабеж, дезавуировала террор, внедряла какие-то первоначальные элементы гражданского правопорядка, пыталась финансировать растущие расходы более деликатными и косвенными методами, например, при помощи "водочных бюджетов" или фальсификации монеты.

Основная функция этого псевдоабсолютизма по существу и сводилась к стабилизации системы после очередной опричной встряски. А политическим ее содержанием было то, что, по-прежнему отменяя все юридические ограничения власти, псевдоабсолютизм тем не менее старался, насколько это было для него возможно, не переступать другие уровни ограничений.

Но никогда ничего не делал он для радикального изменения положения, для укоренения подлинных гарантий личного и имуществ-

венного статуса граждан, а стало быть, и для организации их экономической самостоятельности; никогда ничего не делал он для мобилизации интеллигентных сил системы, на разрешение коренных ее проблем; никогда не решался поставить управление под действительный, а не фальсифицированный социальный контроль; никогда не пытался реформировать политическую культуру своего народа. Он жаждал "покоя", а не движения, консервации общественных процессов, а не развешивания их мобильности. Он срезал верхушки там, где надо было глубоко пахать почву, выпалывая корни.

И поэтому, стабилизируя систему при помощи всех консервативных тормозов, обеспечивая ей устойчивость, русский псевдоабсолютизм каждый раз снова заводил страну в тупик отсталости, невольно создавая тем самым почву для нового Звездного часа автократии и готовя себе в очередной раз трагическое падение. Ведь это был, увы, консервативный абсолютизм, это был псевдоабсолютизм, взращенный на скудной и бесплодной почве автократической культуры, неспособный, как показала история, сокрушить ее коренную авторитарность и поэтому лишь усугублявший ее.

Снова начинала страна грезить о "хозяине", о "твердой руке", о "порядке". Снова появлялась автократическая оппозиция абсолютизму, так сказать, оппозиция справа. Снова происходил автократический путч, очередная опричная революция. И снова обретала страна экстремистского лидера, сокрушавшего всякий порядок, грабившего ее без зазрения совести и казнившего людей "сматерью, изженою, иссыном, издочерью"...

Автократия и консерватизм, консервативно-абсолютистская оппозиция автократии, автократическая оппозиция консервативному абсолютизму - вот основные политические реалии России на протяжении многих поколений, вот главная ее политическая альтернатива.

Но с каждым циклом этот заколдованный круг становился все уже, и скрепы автократической культуры все слабее. С каждым циклом делались все более радикальные попытки разорвать эту, как говорил Гегель, дурную бесконечность. Если автократия Грозного, не моргнув глазом, выдержала четвертьвековую Ливонскую войну, то автократия Николая скисла уже после двухлетней Крымской. И то, что Константин Леонтьев оказался не услышанным и извергнутым из лона официальной идеологии, ясно указывало на то, что автократическая культура становится чувствительней к таким формам социальной регуляции, как военные поражения и финансовые кризисы, что в прин-



ципе дурная ее бесконечность может быть разорвана...

Разумеется, интерпретаторы русской истории, все равно — зарубежные, как Р.Лайпс, или отечественные, как А.Сахаров, которые пишут "автократию", "абсолютизм", "монархию", "самодержавие" и "деспотизм" через запятую как синонимы, могут только посмеяться над усилиями, каких стоило нам добиться хотя бы относительно ясных и содержательных дефиниций, могущих лечь в основу типологического анализа абсолютистских структур. Но ведь им никогда и не выбратья из теоретических парадоксов, порожденных дефиниционным хаосом.

(Продолжение следует)